

The background of the cover is a stylized illustration. On the left, a two-story house with a red roof and several windows is partially visible. A stone path leads from the house towards the center. In the foreground, there are dark, spiky plants. In the middle ground, a person is sitting on a rock in a body of water, their reflection visible. The overall color palette is muted, with greens, browns, and greys.

вода
в озере
никогда
не бывает
сладкой

В ПЕРЕВОДЕ АННЫ КНЯЗЕВОЙ

ДЖУЛИЯ
КАМИНИТО

18+

Джулия Каминито

**Вода в озере никогда
не бывает сладкой**

ООО "Эвербук"

2021

Каминито Д.

Вода в озере никогда не бывает сладкой / Д. Каминито — ООО
"Эвербук", 2021

ISBN 978-5-00-580289-7

На берегу древнего итальянского озера Браччано, где пахнет илом и мокрыми перьями, селится семья Коломбо. Молодая женщина Антония одна заботится о четырех детях и муже-инвалиде. Вечная борьба с несовершенством мира делает ее гордой и бескомпромиссной. Свою единственную дочь Гайю она воспитывает в строгости и учит надеяться только на себя. Маленькая рыжеволосая девочка оказывается очень способной. Она учится: быть сильной, не жаловаться, читать книги, нырять в озеро, даже если течение утягивает на дно, прятать от мамы телефон в обувной коробке, а свое отчаяние там, где его никто и никогда не сможет найти. «Вода в озере никогда не бывает сладкой» — это сложная семейная драма, в которой, как и в жизни, все же есть место проблескам счастья.

ISBN 978-5-00-580289-7

© Каминито Д., 2021
© ООО "Эвербук", 2021

Содержание

| | |
|-------------------------------------|----|
| Дом там, где сердце | 8 |
| Затонувший вертеп | 17 |
| Плох тот народ, что не испытал боли | 25 |
| Мир – это слишком холодный бассейн | 35 |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 44 |

Джулия Каминито

Вода в озере никогда не бывает сладкой

© L'acqua del lago non e mai dolce, Giulia Caminito – © 2021

Giunti Editore S.p.A./Bompiani

This edition was published by arrangement with MalaTesta Literary Agency, Milan, and ELKOST International Literary Agency, Barcelona

© Князева А., перевод на русский язык, 2022

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Эвербук», Издательство «Дом Истории», 2023

* * *

Всякая жизнь начинается с женщины, так случилось и со мной. С рыжеволосой женщины, что входит в комнату, на ней льняной костюм, который она вытащила из шкафа ради особого случая. Она купила его на блошином рынке на Порте Портезе, там, где продают не совсем грошовые шмотки, а фирменные вещи, но с большой скидкой, с ними рядом висит табличка «Цену уточняйте».

Эта женщина – моя мать, она сжимает в левой руке черный кожаный портфель, сделала себе укладку с помощью бигуди и лака, расческой подняла челку. У нее желто-зеленые глаза и оставшиеся еще с конфирмации туфли на низком каблуке. Она входит, и комната становится меньше.

Служащие сидят за столами, а моя мать простояла три часа на углу здания, прижав портфель к груди, и, рассказывая это, она вспоминает, что ноги стали ватными, а слюна – кислой.

Она подходит к одному из столов, покачивая бедрами; ее опережает запах парфюма, которым она пытается перебить душок от приготовленной на обед чечевицы. Она говорит:

– Я к инспектору Раньи, мне назначено.

Она повторяла эту фразу перед зеркалом, и в трамвае, и в лифте, и стоя на углу: «Мне назначено».

Мягко, задорно, решительно, с пришепетыванием, как ни в чем не бывало, и теперь она говорит это девушке без обручального кольца на пальце, с волосами, собранными в хвост на макушке; та смотрит на нее и видит слегка помятый льняной костюм и потрескавшуюся кожу на ручке портфеля.

Девушка смотрит в лежащую перед ней записную книжку.

– Как вас зовут?

– Антония Коломбо, – говорит моя мать.

Девушка еще раз сверяется с записной книжкой, куда занесены все посетители инспектора Раньи; быстро пробегая пальцем по строкам, ищет ту самую Коломбо, но не находит.

– Вас нет в списке, синьора.

Моя мать изображает на лице гримасу, которую она отработывала снова и снова, размышляя, какую мину соорудить в нужный момент. Ей пришлось продумать каждое мгновение этой встречи, в подробностях представляя, что произойдет, и гримаса удалась ей на отлично: выражение лица деловой женщины, утомленной задержками и чужим непрофессионализмом.

Моя мать говорит:

– Послушайте, я договорилась о встрече еще неделю назад. Я адвокат, и синьора Раньи обещала, что сегодня примет меня, мы сильно опаздываем с подачей документов.

Гримаса на ее лице – притворная, а нетерпение – такое же настоящее, как жмущие туфли и потные высокие мужчины в трамвае.

Они обмениваются еще парой реплик, и Антония Коломбо продолжает стоять на своем – она убеждена, что так и следует поступать: занять позицию и не сходить с нее.

Девушка с записной книжкой сдается, ведь рыжеволосая женщина уверена в том, что говорит, а никто из коллег даже не поднял глаз от вверенных им бумаг, потому что спор еще не разгорелся в полную силу. Поэтому она открывает дверь с табличкой «Инспектор Раньи», и моя мать входит, переступая порог, отделяющий ее от будущего.

Она видит перед собой еще одну женщину, одетую в костюм из пиджака и юбки из черной в зеленый горошек ткани, и ждет, пока дверь закроется у нее за спиной.

Она и инспектор смотрят друг на друга; чиновница будто копается в ящике стола, но затем быстро закрывает его, позади нее – огромный книжный шкаф с пособиями по юриспруденции, и моя мать точно знает, что никогда не обзаведется таким количеством макулатуры, ведь она занимает место и стоит денег.

– Вы кто такая? – спрашивает инспектор Раньи, закидывая ногу на ногу.

– Антония Коломбо, – отвечает моя мать и добавляет: – Мы не знакомы, и мне не назначено.

На несколько секунд наступает непроницаемая тишина, пока Антония не решается снова заговорить:

– Вы меня не знаете, но у вас на столе лежат мои документы, запрос на регистрацию, я уверена, он там, в этой кипе, там есть и я; я живу на улице Монтеротто, дом шестьдесят три, точнее, не живу, мое место жительства официально не признано, это двадцать квадратных метров в цокольном этаже, счета приходят не на мое имя, а я обязана платить штрафы за то, что самовольно заняла жилое помещение; я уже внесла залог, чтобы не съезжать, хочу оформить все по закону, ведь уже пять лет прошло.

Инспектор вскакивает со стула, теперь видно, что она невысокого роста. Она снимает очки, круглые, в черепаховой оправе, в ярости швыряет их на стол, криком приказывает моей матери пойти прочь.

– Я была в ваших инспекциях, прошлась по всем инспекциям, принесла документы, что вы просили, я вышла замуж за мужчину, который жил со мной, убедила его усыновить моего ребенка, я создала семью, я отвечаю всем требованиям, – говорит моя мать.

Инспектор принимается куда-то звонить, потом бросает трубку, грозит вызвать полицию, требует, чтобы моя мать убиралась сию же секунду, – как она вообще посмела обманом проникнуть к ней в кабинет? Эту фразу она говорит, повысив голос:

– Как вы посмели?

Моя мать садится на пол по-турецки, подол льняной юбки задирается, открывая белые, усыпанные родинками бедра. Она простирает руки над головой и говорит:

– Я никуда не пойду, буду сидеть здесь – ради моего дома!

И она не двигается с места, сидит, раскинув руки в стороны, ее портфель лежит на полу, он пуст. Моя мать – никакой не адвокат, у нее не назначено встреч с важными людьми, у нее есть дом, где она извела мышей и тараканов, откуда выбросила кучу шприцев, и ей нужен ответ.

Инспектор отходит от стола и, нарочно задев мою мать коленом, бросается к двери, открывает ее и зовет на помощь служащих со словами:

– Здесь какая-то сумасшедшая расселась на полу, выведите ее.

Девушка с хвостом, несколько мужчин, швейцар и консьержка сбегаются на зов и видят неподвижную, как ствол дерева, женщину, мою мать: руки воздеты к потолку, платье задралось и собралось гармошкой на бедрах. У нее каменное лицо, и с ее губ срываются оскорбления и разухабистые песни.

Она думает, что никто из них не знает, как это – дойти до состояния, когда терпеть уже невозможно; после одного-двух-трех-четырёх-пяти соцработников, после одного-двух-трех-четырёх-пяти почтовых отделений, после одного-двух-трех-четырёх-пяти государственных

ных адвокатов, после одного-двух-трех-четырёх-пяти работников местного жилищного управления, после одной-двух-трех-четырёх-пяти анкет, которые нужно заполнить, после одного-двух-трех-четырёх-пяти штрафов, счетов, жалоб, угроз.

Служащие поднимают ее, тащат силой, хватают за руки и за ноги, и тогда ее блузка на ней расстегивается, обнажая бюстгальтер без косточек и полную грудь, юбка рвется, из-под нее виднеются трусы. Лучший наряд моей матери изодран в клочья, и она брыкается и вопит, как обезумевший дикий зверь.

А я как будто нахожусь там и смотрю на нее из угла кабинета, осуждаю ее – и не прощаю.

Дом там, где сердце

Мы живем в районе, который моя мать не любит называть окраиной, потому что для этого надо иметь хоть какое-то представление о центре, а мы в этом самом центре не бываем совсем, я никогда не видела Колизея, Сикстинской капеллы, Ватикана, виллы Боргезе, Пьяцца-дель-Пополо, мы никогда не ездили на экскурсии с классом, если я куда и хожу, то только вместе с матерью на местный рынок.

Все наше жилище – пять метров в длину, четыре в ширину, мне в нем нравятся только залитая цементом площадка и клумбы, на них растет одна трава, никто даже не подумал посадить цветы, и моя мать тоже не захотела, ведь сажать что-то – значит остаться.

Квартира – это кухня, что прячется внутри шкафа, раскладушка, втиснутая под кровать Мариано, электрический обогреватель, который можно ненадолго включить, только если совсем холодно, плакат с битлами над обеденным столом и четыре разномастных стула; квартира – это слышать скрип кровати, когда родители занимаются «этим», потому что комната одна на всех, и не выйти на улицу, не закрыться в ванной, ведь и с улицы, и из ванной тоже все слышно.

Дом – это я, девчушка, которой знакома только бетонная площадка, здесь мы с братом чувствуем себя королями, это наше место и больше ничье, мы копаем, прыгаем, готовим крапиву с муравьями и мелками, принесенными из школы, изображаем на земле числа, линии, треугольники, квадраты, садимся в них и твердим, что это все наше, что мы живем здесь, внутри начерченных на бетоне фигур.

«Д-о-м», – произносим мы, нужно лишь провести несколько линий: представить стены и крышу, окна, двери.

У нас есть это место, царство наших игр и детских мечтаний, потому что так захотела наша мать. Раньше здесь были владения тараканов, мышей и шприцев – последние забрасывали с улицы через решетку, ведущую в цоколь, или оставляли те, кто спал под дверью подъезда.

Наша мать надела позаимствованные у отца высокие резиновые сапоги, собрала все шприцы, один за одним, и сожгла их перед тем, как выбросить золу.

– Если вдруг найдешь шприц, – всегда говорит она, – избавься от него, потому что, если потом на него наступит ребенок, ты тоже будешь в этом виновата, ведь ты же ничего не сделала.

Она купила яд, попросила отца принести со стройки лопату и принялась охотиться, убивать, истреблять.

После месяцев работы дворик, к которому обращена беззубая пасть нашего дома, был очищен, и мать за руку привела туда нас и сказала: «Играйте».

Чтобы заполучить это жилье, она заняла денег у бабушки: нужно было выплатить отступные родственникам старушки, которая здесь и померла.

В этом бедном районе, населенном героинщиками и дряхлыми стариками, никто бы не мог позволить себе эту заросшую плесенью халупу, да и у моей матери тоже не хватило бы денег, поэтому она договорилась с владельцами, подала заявку на регистрацию по месту жительства, чтобы затем начать поиски другой квартиры, а пока принялась ремонтировать временное жилище.

Она думала, что много времени не потребуется, что ей так или иначе удастся свести концы с концами, что нам подыщут новый дом, а мы пока поживем тут, подождем.

Но мы ждем слишком долго, так долго, что моя мать все же сдастся, чинит и драит полы, перекрашивает потолок, прочищает слив в ванной, потому что муниципалитет Рима не собирается предоставлять нам новый дом.

Все держится на честном слове, уже готово рухнуть, но последний корешок умудряется уцепиться за рыхлую почву. Так продолжается до тех пор, пока моя мать снова не беременеет,

а отец (мой, а не Мариано) не получает травму на работе: он падает со строительных лесов, и его разбивает паралич.

К свидетельствам о браке и об усыновлении добавляется еще одно – об инвалидности, к заявкам на пособие по безработице – заявки на субсидии для многодетных семей и на устройство моих братьев в детский сад. Мы живем, умоляя город, мэра, Италию помочь нам, приютить нас, спасти, сохранить, не забыть, наша жизнь – это непрекращающаяся мольба.

Когда рождаются близнецы, мне шесть лет, а Мариано ненавидит всех, сильнее всего – отца, который ему не отец, он из угрюмого мужчины превратился в громоздкий и обременительный придаток, как плита, он больше не работает, пылесос, который ничего не собирает с пола, водонагреватель, который после пяти минут работы снова заставляет мучиться от холода. Он стал развалюхой, и Мариано мечтает его выбросить.

Мой отец, известный крепкими оплеухами и неумной тягой к сексу, прикован к инвалидному креслу, добытому матерью через родственников в какой-то больнице, сам он почти не может шевелить ногами и за ужином почти не ест: какой смысл в еде?

Дома теперь живут мужчина, неподвижный, как статуя, как мраморная глыба, как плитка на полу, как дверной косяк, как бетонный парапет во дворе дома, и суетливая женщина, которая собирает, двигает, начищает до блеска, наводит порядок, клеит, травит, щеткой выметает воду, когда дом затапливает во время затяжных дождей. Неподвижный мужчина – это мой отец, а неутомимая рыжеволосая женщина – это Антония Коломбо.

У меня нет игрушек и мало подруг, мне достаются лишь жалкие пародии на вещи: кукла, скроенная из оставшихся лоскутков ткани, изрисованный альбом другой девочки, ботинки, купленные на рынке, – мы несем их домой без коробки, в пакете, у них уже протерта подошва. Вместо рождественской гирлянды – мандарины, вместо куклы Барби – ее фотографии, вырезанные из журналов.

Я считаю, что мы – отбросы, не востребовавшие карты в сложной игре, выщербленные стеклянные шарики-побрякушки, которые уже не могут катиться: мы неподвижно лежим на земле, как мой отец, свалившийся с неправильно установленных лесов на незаконной стройке, без договора и страховки. И снизу, оттуда, куда мы рухнули, мы наблюдаем, как другие вешают себе на шею колье из драгоценных камней.

Близнецы – крохотные вопящие существа – спят в огромной коробке, набитой одеялами, на кухонном столе, и вонь от их подгузников смешивается с запахом супа.

Мы с Мариано не понимаем, почему мы еще здесь, почему еще ни разу не пытались сбежать; мы – я и этот темноволосый парнишка – тайно составляем план, подгадываем момент для побега, но все равно не готовы свернуть за угол, скрыться за поворотом жизни.

* * *

Мы едва знаем карту Лацио, нашего региона, и улицы Рима, нашего города, потому что радиус нашего перемещения – район, ведь там, за его пределами, все слишком дорого, и там никто не стал бы доверять моей матери, не стал бы расплачиваться за работу ветчиной и хлебом.

Вот как рассуждает моя мать: тот, кто тебя не знает, никогда тебя не выручит, поэтому мы остаемся здесь, где всем известно, кто мы такие, и где она может создавать длинные и короткие цепочки связей, основанные на признательности и покровительстве.

Мариано – старший из детей, и он воспринимает каждого из нас как препятствие между ним и Антонией, ведь она какое-то время была матерью-одиночкой, и тогда, чтобы выжить, они стали единым целым.

Что до меня, то брат кое-как меня терпит, потому что я не плакса и умею молча слушать, когда он вываливает на меня свои сказки, а с ними и внутренних демонов; это мрачные, жуткие

истории, в которых очередная девочка погибает, а волк всегда торжествует. Он на четыре года старше, в детстве разница в возрасте кажется больше, поэтому он представляется мне взрослым, почти стариком. Именно он вмешивается, когда меня задирают, – честно говоря, я не сильно высокого мнения о других девочках и смотрю на них с раздражением, ведь мне кажется, будто у них есть что-то, чего нет у меня, только я пока не нашла для себя способ дать им отпор.

Одна из них, светленькая, похоже, австриячка, зовет меня «Морда-как-у-летучей-мыши»: с ее слов, у меня вытянутые вперед губы – «уточкой». Поэтому в ванной я встаю на носочки, смотрю в зеркало, но не вижу ничего особенно уродливого, к тому же я знаю, что летучие мыши в прошлом были обычными мышами, а не утками. Только вот детские насмешки могут ранить и без причины: если ты не такой, как все, с каким-то изъяном, тебе несдобровать; если же ты вписываешься в коллектив, то можешь оставаться незамеченным. Мы уже достаточно ущербные сами по себе и не можем позволить себе губы уточкой или огромные уши.

Когда я рассказываю об этом Мариано, он приходит за мной в школу, просит показать, где та девочка, кричит ей:

– Заткнись, уродина! – и ударяет ее кулаком.

У меня по спине пробегают мурашки, я восхищаюсь братом, который одним жестом поставил хамку на место, его вспыльчивость становится для меня чем-то вроде тайного сокровища.

Его поступок не оценили ни учителя, ни мать – она несколько дней подряд заставляет Мариано ходить со связанными за спиной руками и говорит: «Пусть обходится без них или же просит помощи у нас; раз уж он не умеет обращаться с руками как следует, значит, останется без них».

У Антонии для каждой проблемы находится оригинальное решение, она редко шлепает нас или отвешивает пощечины, а предпочитает лишиться чего-нибудь.

Если мы шумим дома, то остаемся без ужина; если заигрываемся и не помогаем с близнецами, она отправляет нас в школу без полдника или отбирает у нас пенал: она прирожденная забастовщица, образец сопротивления и стойкости.

У нее свои принципы, взявшиеся неизвестно откуда, может, перенятые от моей бабушки, сложившиеся в течение жизни или, может, просто появившиеся на свет вместе с ней: она неверующая, вышла из партии, ей ведомы только справедливость, упрямое стремление к тому, чтобы делать все правильно.

Меня по-особенному тянет к цветам, не к нескольким жалким цветочкам, которые сами по себе вырастают во дворе, весенним чахлым маргариткам, а к розам в чужом саду, к жасмину, к гортензиям – я вижу их, когда мы с матерью проходим по улице, и хочу сорвать.

Однажды я все-таки решаюсь на это, потому что хочу настоять лепестки розы в пластиковой бутылке с водой, так делают мои одноклассницы, а потом хвалятся в школе своими вонючими, но эксклюзивными духами собственного изготовления. Антония замечает, что я пытаюсь сорвать розу – та вылезла наружу из сетчатой ограды, – и начинается ссора.

– Чужое брать нельзя! – ругается она.

– Но ведь она растет на улице, а улицы общие, – возражаю я.

– Значит, ты вдвойне воровка: общее тем более трогать нельзя, – цедит мать сквозь зубы.

Ломать вещи, портить их – кощунство, последствия которого моя мать моментально исправляет, она находит способ починить или использовать вещь не по прямому назначению, но когда дело касается общественного имущества, она не знает компромиссов: нельзя топтать траву на площадке, бросать бумажки мимо урны, рвать розы в парке, портить библиотечные книги.

Книгами она просто одержима, потому что дома нет телевизора, только радио, и особенно теперь, когда отец или лежит в кровати, или сидит в кресле, чтение – единственный способ скоротать время, а так как у нас нет ни денег, ни места для собственных книг, мы берем общие,

они для нас – настоящие святые, их нужно хранить аккуратной стопкой. У матери записано, когда нужно вернуть книги, она вечно подгоняет, чтобы мы успели дочитать их вовремя, следит, чтобы мы не пачкали и не мяли страницы, а если это происходит, тащит нас в библиотеку, заставляет извиняться перед библиотекарем, перед другими детьми и платит за испорченную книгу, даже если ей говорят, что не нужно, она возражает: конечно, нужно.

Когда я осмеливаюсь сказать ей, что то, что принадлежит всем, как будто бы не принадлежит никому, она отвечает:

– Выбрось это из головы, иначе вырастешь гадиной.

* * *

Антония больше не наряжается, приходит в том же, что носит дома, потная, с заколкой-крабом в волосах, у нее круглое лицо, но узкий лоб, длинные ресницы, нос не крупный, но и не курносый, она не худая, не толстая, с виду совершенно здоровая женщина.

Она постоянно твердит это и нам: важно выглядеть здоровым, тощие ноги – не дело, а впалые щеки только пугают.

Антония решила: чтобы заполучить то, что ей нужно, она должна стоять до конца, ее появление на сцене столь же нежеланно и опасно, как софит, что срывается с потолка и падает на подмостки. Ей следовало освещать других, а она претендует на главную роль.

Неблагополучная, несчастная, нелюбимая женщина с пачкой документов, она выбрала среди работников того, кто кажется дружелюбнее остальных, и записала его имя на бумажке: Мурри Франко.

– А теперь слушай меня, Мурри Франко, я Коломбо Антония, и если вы мне не поможете, я вернусь сюда и спрошу с тебя, – заявляет моя мать, отдавая ему документы папку за папкой.

Мурри Франко пытается быть вежливым:

– Послушайте, синьора, вы проникли сюда обманом, и наша начальница об этом не забыла, вряд ли решение будет принято в вашу пользу.

Коломбо Антония не сдастся:

– Значит, я положу вам на стол еще пятьдесят заявлений, пока не надоем настолько, что вы не сможете не обращать на меня внимания. У меня теперь уже четверо детей и муж-инвалид.

И так – еще месяц, два, три, и если работник меняется, она знает, что придется начать сначала, поэтому, не застав Мурри Франко на месте, она говорит, что придет на следующий день или запишется еще раз.

Вернувшись домой, она говорит с нами о Франко так, как будто он аптекарь или владелец газетного киоска, кто-то знакомый, часть известного, внушающего доверие мира; мы же не знаем, как он выглядит, какое у него лицо, телосложение, он кажется нам чужаком, мы не понимаем, что он делает для нашей матери, поэтому начинаем ревновать, и сильнее всех это ощущает Мариано.

– Она видится с этим типом, а твой отец и слова ни сказал, – однажды с укоризной бросил мне брат, будто я в этом виновата, как и в том, что у меня есть отец, а у него – нет, или же в том, что такой отец ему не нужен.

– А что ему говорить? – отвечаю я, глядя на отца: он сидит в кресле-каталке, его колеса упираются в ножку стола, на коленях у отца лежит раскрытая газета «Манифесто», он изучает каждую страницу минимум по полчаса и, думаю, уже забыл, о чем читал.

– Да хоть что-нибудь, – отвечает Мариано, бросая на отца взгляд, полный осуждения: брат всегда смотрит на него так.

Папа – как потухшая, перегоревшая лампочка; я подхожу, кладу руку ему на колено, пусть он и не чувствует прикосновения, спрашиваю, кто такой этот Франко и не хочет ли отец что-нибудь ему сказать.

Папа не смотрит на меня, но отвечает:

– Скажи брату, чтобы закрыл рот.

Они с Мариано сражаются на расстоянии, что разделяет кресло отца и кровать брата, ведь они всегда в одной комнате – невозможно сбежать, невозможно сделать вид, что не слушаешь.

– Ее арестовали, – добавляет отец, пока Мариано раздраженно натягивает кроссовки: он хочет пойти на пробежку.

– Кого? – спрашиваю я, глядя вниз, на газетную страницу.

– Ну эту... как ее... инспекторшу, – поясняет отец, но я не знаю, кто такая инспекторша и что она инспектирует, поэтому ищу подсказку среди напечатанных на бумаге слов, пытаюсь разобраться, затем читаю имя, на котором отец держит палец: Виктория Раньи.

Я не знаю, кто это, читаю ее имя снова и снова – Виктория Раньи, – я даже произношу его вслух, и тут мать входит в квартиру, неся с собой канистру из-под средства для мытья полов: она никогда не возвращается с пустыми руками, приносит стеклянные банки, пластиковые бутылки, куски фанеры – то, что другим не нужно, нам точно пригодится.

– Виктория Раньи что? – спрашивает она, ставя бутылку на стол, у которого мы сидим. – Мариано, ты куда собрался? – добавляет она, но Мариано, не удостоив ее взглядом, уходит, поэтому не застает, как на лице матери впервые проступает удовлетворение, не видит, как разглаживаются суровые морщины на лбу, не может уловить, как в ее глазах зажигается огонек, как губы расплываются в улыбке.

Антония вырывает газету у отца из рук, читает, перечитывает, потом я вижу, как ее губы начинают дрожать, вижу, что она плачет.

Я ошарашенно гляжу на нее – я почти ни разу не видела, как она плачет: ни в больнице, когда она рожала близнецов, ни когда умерла ее бабушка, ни когда отец упал с лесов.

– Она под следствием, ее отправят за решетку, – рыдая, произносит мать, и я не понимаю, рада она или расстроена.

– Вы с ней дружили? – спрашиваю я робко, и она раздражается смехом, глаза у нее еще влажные, но она громко хохочет.

* * *

Антонии надо показать, чего нам не хватает: горячей воды нет, из розеток торчат оголенные провода, нам негде развернуться, свет плохо проникает внутрь, и то редко, однако когда они приходят к нам, она продолжает твердить:

– Мы справляемся, у нас чисто.

Новая начальница – из бывших соработников, когда она читает в нашем деле, что четверо детей живут на двадцати квадратных метрах, она хватается красную ручку и выводит на первой странице: «Срочно!»

Теперь они основательно принимаются за нас, приходят смотреть, как мы живем, видят сидящего на кровати отца, который даже не здоровается, видят близнецов, которые вцепились в юбку матери – вдвоем они того гляди повалят ее на пол, – у шкафа лежит мешок с их одеждой, спят они в коробке, прижавшись друг к другу, они еще не пробовали жить отдельно друг от друга.

Мариано во дворе, и мы слышим, как он вопит, притворяясь, будто попал в беду, он кричит «Помогите, помогите!» своим взрослым голосом, но мать говорит:

– Не волнуйтесь, он в порядке, просто пытается привлечь внимание.

Чужаков двое, из-за них наш дом кажется еще меньше, теперь он всем нам кажется подсобкой, чуланом со швабрами и чистящими средствами.

– Полиция! – вопит Мариано за окном, а затем швыряет на землю петарду.

Чужаки что-то записывают, задают матери вопросы о состоянии квартиры; когда они уходят, отец ложится набок и начинает храпеть, я принимаюсь грызть сырую морковку, а мать кричит Мариано с порога:

– Гаденьш, это были люди из муниципалитета, на ужин сегодня получишь сухари.

Две недели спустя новая начальница звонит матери, очередь на жилье, как известно, длинная, и наше дело долго стояло на месте, но она хочет, чтобы мы съехали из подвала, он для нас слишком маленький, она подыскала нам квартиру, мы не можем получить ее по стандартной процедуре, но чиновница сумеет дать нам ее во временное пользование и выпишет справку, с которой мы имеем право жить там в ожидании дальнейших указаний.

Мать делает кучу копий этой бумажки, разносит их по всем учреждениям: на почту, в банк, в налоговую, держит в кошельке, крепит на стену, хранит ее рядом с нашими документами и коробочкой с первыми выпавшими молочными зубами.

Мы с Мариано, опечаленные и подавленные, прощаемся с нашей цементной площадкой.

Наше новое жилище находится в районе для богатеньких, на Корсо Триесте, рядом с офисами и банками, оттуда пешком можно дойти до парков Вилла Ада и Вилла Торлония, а в десяти минутах – клуб «Пайпер», соседний район Париоли, самый шикарный в городе; в шестиэтажном здании с двумя внутренними дворами муниципалитету принадлежит только одна квартира, и теперь в ней живем мы.

И вот мы, с коробками, безделушками, кактусами, высаженными в стаканчики из-под йогурта вместо горшков, с зубными щетками в банке из-под фасоли вместо красивого стакана, с вешалками для одежды, сделанными из картона и клейкой ленты, и с грязным бельем, спрятым на дне огромных мусорных пакетов, становимся владельцами этой обители.

Здесь три спальни, кухня, гостиная, настоящая прихожая с настоящей лестницей, настоящая ванна, настоящая дверь, настоящая плита, настоящие жалюзи.

Мы с Мариано ставим два мешка с нашими кособокими игрушками посреди спальни – она кажется слишком большой для нас двоих, настолько, что нам даже немного страшно.

С тех пор как мы поселились здесь, я плохо сплю, запрещаю брату выключать свет, с завидной точностью просыпаюсь в полночь от кошмара, который мне никогда не удастся запомнить как следует, знаю лишь, что падаю и меня никто не ловит.

По ночам я больше не слышу тяжелого дыхания отца, не слышу плача близнецов, только вижу, как Мариано встает, подходит к окну и смотрит вниз, на улицу.

Соседи сверху жалуются, что близнецы совсем не спят, что мы с Мариано слишком быстро бегаем, что мать громко слушает радио, пока моет посуду, что отец каждое утро ругается: вместо того чтобы сказать «Какой чудесный день!», он сквернословит так, что хоть святых выноси.

В новом доме есть товарищество собственников, есть управляющие, собрания, на которые нас не пускают, потому что на самом деле квартира не наша, мы ее не покупали и, в отличие от остальных, ничего нашего здесь пока нет.

Во дворе полно роз – желтых, красных, коралловых – и плодовых деревьев, но срывать ничего нельзя, каждую среду приходит садовник и опрыскивает их чем-то вонючим.

Когда в первый день мы с Мариано играем под окнами, сверху на нас выливается ведро воды: какая-то синьора не одобряет, что мы устроили гвалт.

Мариано кричит ей:

– Стерва!

А она угрожает вызвать карабинеров.

Тогда уже мать прикрикивает на нас и запрещает Мариано шуметь, потому что эти люди поселились тут раньше нас, нельзя вести себя как в старом доме, мы должны подстраиваться под других, уважать их.

Ходить за продуктами в этом районе нам сложно – все слишком дорого; в школу мы пришли в середине года, и учителя считают, что мы так отстали, что лучше остаться на второй год; брата постоянно выгоняют из класса, а я говорю все меньше, отвечаю короткими, рублеными фразами, пишу криво, и я ужасно завидую, как получаются «о» и «т» у других девочек.

Единственная подруга матери – консьержка, сицилийка, низенькая, не слишком разговорчивая, но шустрая и дотошная в уборке; она выслушивает чужие жалобы, споры и другие рассказы, но о себе не говорит, сортирует почту, у нее есть стойка с ключами от всех квартир, подвалов, от всех замков в доме – они ничем не различаются внешне, и только консьержка знает, какой ключ отпирает какую дверь, это ее тайна.

Консьержку зовут Нунция, у нее есть дочь Роберта, которая, как и мой отец, прикована к инвалидному креслу, но она ниоткуда не падала, а родилась такой, она плохо разговаривает, часто роняет голову на грудь или смотрит таким отсутствующим взглядом, будто она не здесь.

Возвращаясь из школы, я всегда останавливаюсь посреди двора и, если никто не видит, бросаю на землю портфель и иду к фонтану – он из белого камня, грязный, но в воде плавают кругами шесть золотых рыбок. Я часами стою, опустив руку в воду, пытаюсь их погладить, они ускользают, уплывают, потом снова приближаются, а я все загребаю и загребаю, складываю ладони горстью, собираю веточки, что падают на поверхность.

Мне кажется, эта игра никому не мешает, мы не шумим – ни я, ни рыбки, – к тому же я составляю им компанию, не вычерпываю слишком много воды из фонтана, не пью ее.

В саду есть уголок, куда солнце попадает даже зимой, – там, если поднять глаза, можно увидеть кусочек неба, – подходящее место, чтобы забыть, что находишься в самом центре города; Нунция сажает туда свою дочь Роберту, ведь той нравится солнце. Их квартира рядом с каморкой консьержки, она самая маленькая во всем доме, и, к счастью, к ней ведет меньше всего ступенек; впрочем, воздуха там тоже немного.

Роберта – молчаливая девочка, временами она издает клокочущие звуки, облизывает губы, растягивает слова, просит о чем-то, и только ее мать понимает о чем; однако дать понять, что она хочет посидеть на солнышке, ей удается легко.

Я замечаю, что многие соседи проходят мимо и не здороваются с ней; на меня они тоже смотрят косо и идут дальше, не останавливаясь, не глядя на рыб, поэтому я сама говорю:

– Привет.

Громко говорю это всем, чтобы увидеть, как они отреагируют, ответят или нет; кто-то бормочет: «Доброе утро» или «Добрый вечер», – а кто-то – ни слова, даже не утруждает себя ответом.

Одна из соседок, немка, сердито смотрит на нас из окна, а когда спускается во двор, то прогуливается туда-сюда, улыбается другим женщинам, но нам – никогда; она глядит на меня, упирает руки в боки, отступает, идет к консьержке, жалуется и потом возвращается, и вот однажды она, пунцовая, набрасывается на меня: она – стража, а я – бандитка, – хватает меня за руки и вытаскивает их из воды.

– Прекрати, а то испортишь воду! – пронзительно вопит она, у нее голубые глаза и высокий лоб.

Вся эта возня пугает рыб, они суетливо – с вытянутыми хвостами и отчаянием в глазах – наворачивают круги в фонтане, похожем на котел. Роберта нервничает, сучит ногами, немка хватается за руку и тащит ко входу в подъезд, к лестнице, которая ведет к нашей квартире.

– Ну, шагай, – приказывает покрасневшая соседка, и я взбегаю наверх, перескакивая через ступеньку, иду искать мать.

Я вижу, что один из близнецов висит у нее на шее, а второй стоит босыми ногами на столе и виляет попой, как будто танцует.

– Мам, – говорю я; от бега по лестнице я вся взмокла, – та немка наорала на меня у фонтана, сказала, что я испорчу в нем воду.

– Я тебе сто раз объясняла, нельзя играть во дворе, здесь тебе не старый дом: фонтан здесь для красоты, ясно тебе? Не чтобы играть, а чтобы дом был красивый, как девочкам завязывают бантики.

– Я стояла молча и смотрела на рыб, да и вообще, зачем этим дуракам красивый дом, в котором ничего нельзя трогать? – возражаю я.

– А зачем им бусы, оборки, кружева? Нет от них никакого проку, люди просто наряжаются, и все.

Еще несколько дней я прохожу мимо фонтана, глядя на него как на ушедшего возлюбленного, даже рыбки и розы – безделушки, ненужные цацки, никому до них нет дела.

Вскоре я замечаю, что Роберта не сидит там, где обычно, хотя дни были солнечные, она больше не спускалась во двор, и мать тоже это замечает, поэтому идет узнать почему.

Выясняется, что и здесь постаралась немка, она сказала консьержке, что ее пускающая слюни дочь – не самое приятное зрелище, хватит и «этих», то есть нашего семейства, так никто не захочет купить квартиру в нашем доме, из-за нас жильё теряет в стоимости.

Тогда мать ждет, пока не вернется немка, спускается вниз с близнецами на руках, со мной и Мариано, говорит нам подойти к стене дома и снять футболку, потом сама снимает блузку и в одном лифчике встает к стенке, как приговоренная к расстрелу, а когда соседка с мужем заходят во двор, мать говорит им:

– Если вы не разрешите девочке спускаться в сад, мы так и будем тут стоять каждый день, я и дети, без одежды – в знак протеста.

Она кричит, и из окон, выходящих во двор, высовываются люди; немка же стоит как вкопанная, как столб, как вешалка, а затем говорит:

– Я вызову полицию.

– Вызывайте, мы не сдвинемся с места. Как можно запрещать девочке сидеть на солнце? Девочке, которая не может ходить. Так я и скажу карабинерам, а если нас прогонят, мы все равно вернемся, вы не представляете, какой я могу быть упрямой, если захочу, даже не представляете.

Вмешивается муж немки; они все орут друг на друга, а мы так и стоим, прислонившись к стене, полуголые – Мариано разделся до трусов, а у меня задрана юбка.

Мы готовы устроить революцию.

– Видите эти ворота? – спрашивает муж немки, который явно старше ее лет на десять. – Мы установили их после войны, потому что старые украли фашисты. У этого дома есть история, – замечает он сдержанно, с плохо скрываемым раздражением. Возможно, именно этот его спокойный, но в то же время язвительный тон еще сильнее задевает мою мать.

– А кто теперь фашисты? Вам есть дело до ворот, а до детей – нет, вы не разрешаете им играть, не поздороваетесь, не улыбнетесь, не дадите им даже посидеть в уголке, что вы за люди? Я чуть не подхватила ВИЧ, чтобы моим детям было где поиграть.

Рыжеволосая женщина бьет себя в грудь, притворяется, как будто колет себя в плечо шприцем.

Они не знают, что сказать, и молчат.

Мы по условленному знаку одеваемся и гуськом шагаем за матерью, она предупреждает, что мы еще вернемся.

И мы правда возвращаемся, каждый день после школы идем закатывать сцену во дворе, пока Роберта не возвращается на свое место в солнечном уголке сада.

– Нужно стоять на своем, пока не добьешься желаемого, и если продолжаешь настаивать, тебя ничто не остановит, – говорит мать, обращаясь к Мариано, когда видит, как счастливая с виду Роберта в своем махровом слюнявчике размахивает и вращает руками в воздухе.

Наша мать – как героиня комикса, как Анна Маньяни в кино, это она бушует, она не сдаётся, она ставит их всех на место.

Мы с Мариано, в коротких штанишках, с напряженными икрами, стоим в коридоре, из которого двери ведут в комнаты, стоим и смотрим в глаза нашему страху: никогда не стать такими, как Антония, не сделать достаточно, не выиграть ни одной битвы.

Затонувший вертеп

Однажды утром, когда я захожу на кухню, Антония вручает мне кепку травяного цвета с косым козырьком и говорит:

– Сегодня я тебя кое-куда отведу.

– А где Мариано? – спрашиваю я, потому что его тарелки с завтраком нет на столе.

– На улице. Он с нами не пойдет, – холодно отвечает мать. – Одевайся, а то опоздаем.

– А близнецы и папа? – допытываюсь я.

– Консьержка за ними приглядит, – резко замечает она. – У тебя веснушки на носу, – добавляет она, рассматривая меня так, словно видит впервые.

Я – маленькая она, а она – взрослая я: те же выющиеся рыжие волосы, те же болотно-зеленые глаза, то же неумение сочетать цвета, пить из узких высоких бокалов, те же веснушки на носу.

Для меня все, в чем мы похожи, – невыносимое уродство. Веснушки – хуже прыщей, глаза – и не зеленые, и не карие, слишком бледная кожа выглядит болезненно, а хуже всего – волосы, они притягивают неприятности.

Мы с матерью едем на автобусе, потом на метро с двумя пересадками до виллы Аурелия, оттуда – на электричке по недавно отремонтированной ветке. Мне кажется, будто я пересекаю галактику, мои махровые розовые шорты – как скафандр, кособокая кепка – шлем, через стекло которого я смотрю на звезды.

Сиденья обиты тканью в мелкий ромбик, подголовники ярко-синие, с одной стороны у них специальное уплотнение, выступ, на который можно опереться головой и вздремнуть.

Мусор и бумажки выкидывают в металлический контейнер, он издает скрип, когда закрываешь крышку, поэтому напоминает мне пасть механической акулы – как из фильма «Челюсти». Я забавляюсь с крышкой, поднимая и опуская ее со щелкающим звуком, пока женщина рядом с нами не начинает фыркать, тогда мать грозит, что отберет у меня кепку и мне напечатает голову.

Из-под сиденья дует холодный воздух из кондиционера, и наши ноги в парусиновых туфлях мерзнут. Козырьки и заборы на станциях сделаны из железа и зеленого оргстекла, а когда я спрашиваю, где мы сейчас, пытаюсь понять, как далеко мы уехали, Антония отвечает:

– В поезде. – И на этом разговор окончен.

Она захватила с собой кроссворд и теперь решает его, со мной не советуется; я подглядываю тайком и вижу, что она только что написала по вертикали слово «Созвездие».

– Какое?

– Что «какое»?

– Какое созвездие?

– Я в них не разбираюсь.

– Может, Большая Медведица?

Она не отвечает и уже перешла к следующему слову, номер двадцать семь по горизонтали.

Я не помню, чтобы мы хоть раз так долго куда-то ехали, разве что когда ездили на море в Остию, к бабушке, но там мы бываем редко и недолго, потому что отец остается один, бабушка терпеть не может близнецов, а мать переживает, что Мариано напорется на шприц, если так и будет бегать по пляжу босиком в темноте.

– Куда мы едем? – спрашиваю я, елозя на жестком набивном сиденье.

– Смотреть дом, – отвечает Антония, как будто речь о стуле или о пляжном зонтике, о чем-то обыденном.

– Чей дом? – спрашиваю я.

– Наш дом, – говорит мать, и мне кажется, что она надо мной издевается, в рыжих волосах прячется ложь, а поезд везет нас в пустыню.

У нас нет дома, только место, куда нас пускают пожить по доброте душевной. Я говорю «по доброте», потому что не хочу признавать, что это происходит из жалости – возможно, это самое подходящее слово, или нет... может, лучше подойдет «поддержка», или «помощь», или «нужда», или «обман».

Распахнув глаза, я читаю вслух названия остановок, и Антония сообщает, что мы в северной части Рима, это виа Кассия, вот станция «Чезано», здесь находятся казармы, а мне кажется, что мы пересекаем целый континент и скоро встретимся с разными народами, вторгнемся на вражеские земли.

На голубой табличке на следующей станции написано: «Ангвиллара-Сабация» – и мать говорит, что пора выходить. Я чувствую, как ноги не слушаются, но молчу, тем временем поезд уходит, а мы спрашиваем дорогу.

– Озеро далеко? – спрашивает Антония, и мы узнаем, что до него четыре километра, автобусов нет, так что нужно или идти пешком, или ловить попутку.

Мать выходит со станции, перед ней несколько навесов, чтобы укрыться от дождя, газетный киоск, фургончик с кофе, перекресток двух улочек, вокруг – поля и деревенские домики.

Чуть дальше виднеется церковь, мне она кажется некрасивой и унылой, заметно, что ее построили недавно, по форме она напоминает цирковой шатер, на стенах резьба, дверь со стеклами и ручки на ней, как в больнице, только по кресту на куполе можно понять, что это за здание. За церковью прячется спортивная площадка воскресной школы, а перед ней – небольшая площадь, пятачок с неработающим фонтаном.

Антония идет к навесам, ждет, пока кто-нибудь остановится и предложит нас подвезти, нелепо машет руками, совсем не улыбается, нас никто не замечает, а мать крепко сжимает мою руку, точно револьвер.

Моя мать редко надевает платья по фигуре или с декольте, она носит шорты по колено с карманами по бокам, мужские футболки с круглым вырезом, номерами и логотипами строительных фирм, поэтому отец говорит, что она похожа на рабочего.

И у меня, и у вышеупомянутого «рабочего» рыжие волосы, мы замерли, словно в молитве, в ожидании ответа, мимо проезжает всего три машины, ни одна из них не останавливается.

Я говорю Антонии:

– Поехали домой.

Она раздражается и тянет меня за руку к себе.

– Не глупи, это чудесное место, тут даже озеро есть, – с уверенностью заявляет она.

* * *

Снаружи дом напоминает небольшую фабрику вроде тех, где делают рыбные консервы или ботинки на тонких шнурках, где на заднем дворе сваливают отходы, рабочие отмечают на входе каждый день в семь утра, но на самом деле это социальное жилье, целый комплекс, окруженный типовыми частными домами, рядом две площадки: для тех, кто на поводке, и тех, кто с погремушками, – и небольшой участок земли, залитый цементом, но цветом похожий на песок на гавайском пляже.

Комплекс выходит на главную улицу, рядом магазин стройматериалов, оптика, где по акции продают две пары очков по цене одной, и недостроенное здание.

Все окна расположены на одной высоте, на квадратных балкончиках поместятся разве что столик, две табуретки, горшок с алоэ и шкафчик для метелок и прочих мелочей; за входной дверью расходятся в стороны две одинаковые лестницы. Само здание небольшое, не старое, но

и не новое, напоминает женщину среднего возраста, которая, хоть и не наряжается в кружева и жемчуга, не любит выходить в люди, не замазав синяки под глазами.

Антония ведет меня на первый этаж, где нас встречает синьора в платье в цветочек – спереди у платья V-образный вырез и запа2х, а на спине завязочки, как у фартука, – она жмет нам руки и улыбается, широко и натужно улыбается, ее зловещий энтузиазм наводит на мысли о том, что тебя могут ограбить.

Мать представляет ее мне, и она говорит:

– Мирелла, очень приятно познакомиться.

Я называю только свое имя, без «очень приятно».

Квартира почти такая же большая, как в доме на Корсо Триесте, и Мирелла особенно напирает на то, что здесь есть балкон, где можно спать (что необходимо летом) и удобно сушить белье, на кухне есть все необходимое, газовая плита работает. Она говорит, район спокойный, и продолжает: социальное жилье здесь совсем не такое, как в Риме, взрослые работают, дети играют в парке, ванная, надо отметить, просторная, так что мой отец, приноровившись, сможет без проблем мыться сам, диван и шкафы можно оставить. Есть три спальни, добродушно добавляет она, но одна из них практически каморка, – я думаю, ее отдадут близнецам, им придется, как и раньше, делить все на двоих: они как ломтики сыра для бутербродов, запечатанные в тесную упаковку.

Мать говорит:

– По мне, так все прекрасно.

Я спрашиваю:

– Для чего прекрасно?

Мне никто не отвечает.

Они обмениваются любезностями и рукопожатиями, болтают о том, что из мебели останется, а что вынесут, что нужно будет подписать, а я не могу уяснить, о чем они договорились, не понимаю, на какие деньги мы купим эту квартиру, да и зачем, если у нас уже есть квартира, причем не в этой глуши, где не ходят автобусы, а церкви страшные, как супермаркеты.

Я вхожу в комнату, которую, должно быть, отдадут нам с Мариано, осматриваюсь и вижу, что на полу лежит серая плитка, похожая цветом на кожу акулы, не блестящая, без рисунка, с виду не паркет, не терракота, просто шершавая плитка, даже смахивает на цемент. На стенах уродливые обои в разноцветный горошек, как будто это комната для младенцев, грудничков, самых горластых, раздражающих детей, стены из гипсокартона пропускают каждый шорох, а еще в комнате ужасно жарко, солнце бьет в окно, комната – как душная теплица, а я – лимонное дерево.

Меня утешает лишь то, что я буду спать рядом с братом, слушать, как он сопит во сне, наблюдать, как он гасит свет, как бросает носки в корзину для грязного белья, как разговаривает во сне: «А теперь хватит, лошадь, луна, прощай, позови меня, зачем?..»

Синьора Мирелла и моя мать обнимаются, и мать говорит:

– Эта квартира – просто спасение.

* * *

Я впервые вижу озеро не в день зеленой кепки, а в день переезда.

Мать начала организовывать его заранее: составила списки, нашла коробки и скотч и принялась виртуозно упаковывать вещи; я видела, как она закрывала коробки с кучей тарелок и стаканов, словно там только поролон и папиросная бумага, как она бережно, на руках, вынесла вешалки и люстры, сама, потев и проклиная все на свете, часами таскала сушилки, стулья с мягкой обивкой и полки.

Я ограничилась только тем, что она мне поручила: приводила в порядок одежду, распределяла по стопкам – по одной для каждого члена семьи, – отделяла зимние вещи от летних, упаковывала в коробки, подписывала и складывала в угол.

Мариано все это время не делал ничего в знак протеста против решения матери, которое казалось ему противозаконным, фашистским.

Майклу и Роберто пять лет, у них одинаковые лица, различающиеся только одной родинкой; одинаковыми глазами они наблюдают, как мы цапаемся, обзываемся, кочуем с места на место.

Когда мы приезжаем в новую квартиру, снова начинается череда мешков и мебели, нам помогает один из друзей матери, его зовут Винченцо, они знакомы с детства. Мы называем его по имени, отец называет его «этот». Грузовик его, его силами наши пожитки поднимаются в новую квартиру и бросают там якорь, он же отправляет отца на лифте на нужный этаж, и он же предлагает скататься поглядеть на озеро, прежде чем уехать на опустевшем грузовике. Винченцо, мать и я едем к озеру, оставив близнецов на Мариано, который, точно пришелец, бродит по квартире, ищет Млечный Путь, ищет лесенку, чтобы подняться на свой корабль и скрыться.

Площадка возле мола забита припаркованными машинами, вдоль него тянется железная ограда, и мы с Антонией поднимаемся на пирс, пока Винченцо пьет кофе в баре неподалеку.

– Что там, внизу? – спрашиваю я, перевесившись через перила, чтобы рассмотреть опоры пирса, всматриваясь в темную воду, но ничего особенного там не видя.

– Грязь, – отвечает мать и прибавляет: – Не смотри вниз, лучше посмотри вокруг.

Она поднимает мне голову и указывает на холмы, другие селения, замок Браччано, набережную озера в Тревиньяно, лес, горы Чимини вдалеке; вон там, говорит она, Витербо, а там – Манциана, говорит, что на променаде можно купаться, что растущие вдоль него деревья – тополя, что вода всегда теплая; и я снова смотрю вниз.

– А что внизу, под пирсом? – спрашиваю я снова, потому что увидела, как в воде что-то блеснуло.

– Ничего, одна вода, – отрезает Антония, продолжая любоваться другими берегами и пляжами в других поселениях. – Мне нравится здешний свет, вон там, над домами, – прибавляет она наконец.

Я упорно гляжу туда, где в воде будто промелькнул призрак: осколок, рыба, сдутый мяч.

Какой-то светловолосый мальчишка сидит на перилах, свесив ноги, и указывает туда же, куда смотрю я, на то загадочное место, говорит, что там с незапамятных времен лежит затонувший вертеп, с младенцем Иисусом, с волком и осликом, по праздникам его подсвечивают, это местная традиция.

Я подаюсь вперед, вглядываюсь снова и снова, но не вижу ничего, вода прозрачная, но ее толща не дает мне разглядеть вертеп.

Тогда я говорю:

– Не может быть.

Он отвечает:

– Приходи в Рождество, сама все увидишь.

Я с вызовом смотрю на паренька: на нем дурацкие шорты цвета хаки, как будто он только выбрался из леса.

Мать обрывает наш разговор и уводит меня, говорит, что это ерунда, не появится там ни головы, ни глаза, ни ноги, ни одеяний, и я колеблюсь, не зная, кому верить: матери, которая не видит ничего, или мальчишке, который видит все.

* * *

Когда мы уезжаем из Рима, моему брату пятнадцать, и чем старше он становится, тем заметнее становится его нос: длинный, но с узкими крыльями, с опущенным вниз кончиком и горбинкой на переносице, – он напоминает отвесную гору или изрезанный берег какого-нибудь северного моря. Такого носа нет ни у кого из нас, это единственное, что досталось ему от отца, даже фамилия у Мариано не его, брат не знает ни его имени и фамилии, ни даты рождения, ни места работы и проживания, он бы не узнал его в толпе, не смог бы разыскать его бы под Рождество, чтобы, как водится, поздравить с праздниками.

Мать называет нос брата характерным, я – накладным, потому что кажется, будто он совсем не подходит к лицу и его прилепили туда случайно, такого нет ни у меня, ни у Антонии, ни у Роберто, ни у Майкла, ни тем более у моего отца. Более того, со временем отец понял, что этот нос – его шанс отыграться, стать невыносимым, без лишних телодвижений: он перенял у детей манеру ранить, не напрягаясь.

Не нужно ждать особого случая, чтобы указать Мариано на то, что у него какая-то посторонняя штука на лице: мол, когда он кивает, то может резать хлеб, как ножом, а когда отрицательно качает головой, все сшибает со стола.

– Сначала появляется нос, а потом уже Мариано, – говорит отец, покуривая на балконе и сбрасывая пепел в горшок с алоэ; он всегда сидит на одном и том же стуле, скрипучем, с грязной обивкой, на сиденье уже обозначились очертания его задницы.

В новом доме в Ангвилларе есть лифт, поэтому отец мог бы попросить нас с матерью спуститься вместе и отвезти его на детскую площадку посидеть в тенечке, на солнце или и там и там одновременно, поставить коляску наискосок, подремать – в общем, посидеть как угодно, найти свое место в мире, но он не хочет. Его перемещения выглядят так: с кровати на кресло-каталку, оттуда на просто кресло или просто стул, со стула на диван, с дивана в ванну, из ванны на унитаз, с унитаза на кровать и затем по новой.

Каждые три дня он вынуждает нас проводить безрадостный ритуал мытья, и мы должны ему помогать, усаживать его, подталкивать, тереть щеткой, пока он сквернословит и кричит, что поубивал бы нас всех, в ванне ему тесно; однажды он даже режет себе руку, неудачно ударив ею по мыльнице, сделанной из глиняного черепка, и кровь течет по краю ванны, попадая на пол, а на швах между плитками остаются следы.

Отец как будто хочет, чтобы мы расплачивались за то, что он выжил, точно в том, что именно он упал с лесов и при этом не умер на месте, виноваты мы, это мы допустили халатность.

Антония ненавидит отцовские шутки, то, с каким видом он насмехается над ее сыном, как поднимает уголки рта и обнажает зубы, потемневшие от табака и покрытые налетом.

– Мне не смешно, – вечно повторяет она.

Чаще всего Мариано не обращает на него внимания, но в остальных случаях он обрушивает на отца весь свой гнев, обзывает его, бьет кулаками, подходит к креслу-каталке сзади и ударяет его раскрытой ладонью по шее, таскает за волосы, а потом отходит и кричит:

– А теперь встань и попробуй меня поймать!

Мой брат – невысокий, но весь будто наэлектризованный, заводится с полуоборота и везде сеет смуту: дома устраивает небольшие стачки, а в школе – настоящие восстания.

– Всего пятнадцать лет, а уже с гнильцой, – заявляет мой отец.

С тех пор как мы уехали из Рима, Мариано ходит в геодезический техникум в Браччано, соседнем городке, утром он садится на восьмичасовой автобус и до семи вечера не появляется дома; иногда у него такие красные от ярости глаза, что он даже меня не видит как следует, а его нос превращается в разящий клинок.

В школе его не устраивает ничего: оценки – форма угнетения со стороны учителей, туалеты как будто нарочно не моют, чтобы унижить учеников, на физкультуре заставляют играть в футбол, в учебниках истории полно вранья, компьютерный класс воняет расплавленным пластиком, а завхозы воруют туалетную бумагу. И против всех этих несправедливостей Мариано бунтует. Отвечает на уроке, не подняв руки; перебивает учителей, заводя разговор о неизвестных им книгах; устраивает сидячие забастовки перед кабинетом директора, рисует плакаты и развешивает их около душевых, ломает автоматы со снеками, потому что все их производит «Ферреро» и стоят они слишком дорого.

– Они кормят нас только тем, что видят по телевизору, едой из рекламы, – заявляет Мариано за ужином, в ответ получая ласковый взгляд матери, мое молчание и насмешки отца.

– Это ты его таким вырастила, рано или поздно кто-нибудь его пристрелит, – говорит Массимо, мой отец, Антонио.

* * *

– А ты чья дочка?

– Антонио...

– Какой Антонио? Внучки Патузцо?

– Нет, не знаю, кто это.

– А чья тогда? Вы вообще кто такие?

Брат многое рассказал мне о нашем городке – например, что нужно представиться, прежде чем требовать к себе внимания, ведь ты существуешь только тогда, когда люди понимают, кто ты такой, когда даешь ясно понять, из какой ты семьи, откуда родом, где и что у тебя за участок, дом, вилла или квартира, из какого ты района, держишь ли магазин, делаешь ли скидки, закрываешься ли по четвергам, как здесь принято, учится ли твой брат с чьим-нибудь сыном, кто ты по профессии, твой ли красный «фиат» припаркован прямо на тротуаре – или у тебя есть автоматические ворота и ты паркуешься за ними, – опускаешь ли ты жалюзи, когда по улице проезжает катафалк.

Народ здесь помешан на прозвищах, им надо заново тебя окрестить, все важные люди получают новые имена: их выбирают по профессии, по месту жительства, по тому, кем был дед, например Рыбак, Жаба, Сивуха, и никто не сможет отнять у тебя имя, данное местными, оно навеки останется с тобой, как костюм, сшитый на заказ. Как правило, логику проследить легко: если торгуешь хлебом, ты Печка, если у тебя длинный нос – Носач, – но бывают и случаи, в которых причина не до конца ясна, ведь зачастую прозвище достается в наследство, или же обстоятельства его появления изменились, или оно возникло в результате ссоры двадцать-тридцать лет назад, память о ней осталась только в словах – самых грубых, закостенелых, что оставляют во рту металлический привкус.

– С местами здесь поступают так же, как с людьми, – говорит Мариано. – На Прачечной площади уже нет никакой прачечной, на Солдатской аллее нет солдат; то же и Консервная улица, Коричная, поворот дороги, называемый Кружевной каймой, или какой-то Крест, то есть перекресток.

Если не знаешь, как называется то или иное место, на тебя поставят клеймо чужака, безотцовщины, а значит, местные не смогут узнать, за кого ты проголосуешь на выборах, кто твой семейный врач, какую повозку ты соорудишь к карнавалу, готовишь ли ты бычков в кляре во время рыбной ярмарки. Они не могут попросить тебя об одолжении, поэтому не желают оказывать тебе услугу, не здороваются на почте, в мясной лавке сделают вид, что не слышали, когда скажешь, что подошла твоя очередь, потому что здесь всегда, что бы ни случилось, сначала их очередь.

Мне как раз нужно переходить в среднюю школу, и от матери я узнаю, что в последнее время из столицы в Ангвиллару люди прямо валом валят: дома здесь стоят меньше, жизнь спокойней, на электричке можно за час добраться до площади Святого Петра и района Трастевере, городок растет в глубь суши, по направлению от озера, застраивается типовыми таунхаусами, платными парковками, заправками, супермаркетами, государственными школами, спортзалами; приезжие из Рима смешиваются с теми, кто родился здесь, и эта гремучая смесь порождает раздоры, тревоги, подозрения.

Местные никак не могут уразуметь, кто мы такие и тем более что нас сюда привело.

Из раза в раз мы придумываем для этого весомые поводы или же просто небывлицы: тетушек аристократического происхождения, аллергию на смог, любовь к деревенским улочкам, – говорим, что в Риме теперь даже помидоров не купить, нам нравится запах сена или коров, мы обожаем прогулки и походы, когда-нибудь мы сядем на велосипеды и объедем все озеро кругом.

Я не знаю, какие отношения связывают мою мать и синьору Миреллу, знаю лишь, с самого детства, что о подробностях лучше молчать: об отце мы говорим только, что он инвалид, о доме – что мы в нем живем, и все. Мы не лжем и не притворяемся, а умалчиваем, втолковывает нам мать, рассказывать в поселке о мелочах, заботах и пустяках, касающихся нашей семьи, куда хуже, чем сражаться с местными нравами нагишом и со связанными руками.

Мать считает, что в столице мы жили как в тюрьме и она приняла наиболее верное решение, чтобы больше не иметь дела с людьми, которые, несмотря на деньги, так и остались нечистыми душой: дом в Риме напоминал пруд с лягушками, головастиками, личинками, червями, нам же нужна была гладь озера, чтобы ходить под парусом, так она меня и соблазнила – рассказами о парусниках и попутном ветре.

Антония работает горничной, но кроме этого умеет еще много всего: чинить сломанную мебель, запускать барабан стиральной машины, умеет менять лампочки и продувать батареи отопления, шить одежду несложного кроя, штопать носки, сочетать одежду и собирать наряды с минимумом затрат, делать из дерева шкафчики и полочки для ванной, если нужно, косить траву и управляться с розами; она – природный садовод, поэтому в теплицах, на балконе и в саду у нее все цветет и пахнет, а перед тем как уйти на работу, она еще и успевает полить газон.

Антония заправляет в этих домах так же, как и в нашем: наводит порядок в ящиках шкафа, отчитывает детей, выбирает чистящие средства, наказывает, как развешивать белье, полирует серебро подручными средствами, возмущается при виде оставленных где попало тапочек, ненавидит разбросанные игрушки, убирает каждый овощ, кусок сыра или колбасы в отдельный контейнер, а на него лепит наклейку со сроком годности, составляет списки покупок, в которых нет места вредным сладостям на полдник и кока-коле, расчесывает девочкам волосы и заплетает косички, когда те возвращаются из школы, – и все боятся ее разозлить.

В чужих частных домах, как правило, больше одного этажа, иногда там есть бассейн, гараж, табличка «Осторожно, злая собака» у входа над звонком, длинношерстные коты на диванах – и все это полностью принадлежит Антонии. Ни одна прищепка, винная пробка, салфетка или пульт не скроются от нее, от ее безраздельной власти, чувства вкуса, не сбегут из того места, куда она решит их запрятать.

Хозяева безотчетно доверяют моей матери, позволяют ей вести бюджет, дают ключи от автомобиля, чтобы отогнать его к механику, оплачивают отпуск, праздничные дни на Рождество и в августе, дарят одежду, которую больше не носят и которую мать приносит домой и заставляя меня, Мариано и даже отца примерять; последнему обычно достаются рубашки чересчур большого размера и брюки, мать сразу же подшивает их, пусть он и надевает их, лишь чтобы добраться от кровати до обеденного стола.

Все эти годы мать могла бы воровать украшения, фарфоровые статуэтки из Каподимонте, серебряные ножи, слоников из кристаллов Сваровски, но ничего подобного, ведь эти вещи ей не принадлежат, а к тому, что ей не принадлежит, Антония относится с почтением и сдержанностью, которые принято выказывать в адрес покойников.

Если мой отец, даже в шутку, просит ее принести что-нибудь, чего у нас нет, что-нибудь обычное, вроде закончившейся пасты, соли, рулона туалетной бумаги, мать обиженно негодует, ледяным тоном сообщает, что мы останемся без ужина, и, громко хлопнув дверью, уходит в магазин за тем, чего недостает, – так она напоминает всем: что есть в доме и чего в нем нет – зависит только от нее.

Скоро, совсем скоро все в округе начинают звать нас детьми Антонии, Рыжей.

Плох тот народ, что не испытал боли

Чтобы вырасти, нужно трудиться: детство не длится вечно, тебя не будут без конца защищать, нянчить, поить, умывать, выручать; настанет день, когда придется стать самостоятельным. Сегодня он настал и для меня.

Мать решает, что школа в Ангвилларе или в Браччано не пойдет мне на пользу: конечно, здесь безопасно, но школы лучше в Риме; в Мариано уже никто не верит, поэтому единственная девочка в семье должна учиться, быть лучше всех, поступить в университет, стать врачом, инженером, финансистом, писать романы, но прежде всего она должна читать как одержимая, без продыху.

Многие советовали матери школу в Джустиниане, оживленном районе на севере Рима, посередине которого проходит виа Кассия, где жилые дома с вахтерами и камерами наблюдения стоят вперемежку с панельными домами и китайскими ресторанами.

В моей школе учатся дети как из самых бедных кварталов, Оттавии и Пальмаролы, так и из семей позажиточнее, из жилых комплексов с автоматическими воротами и домофонами с кучей кнопок для вызова, но в ней не встретишь отпрысков настоящих богачей: родители стараются отправлять их в частные школы.

Если у моей школы и есть название, я его даже не слышала, для меня она с самого начала зовется так же, как и район, где она находится, и как станция, на которой я каждое утро выхожу из электрички, той самой, что когда-то впервые отвезла меня из Рима в Ангвиллару; для меня эти вагоны – место умирания, побега, отчаяния: чересчур переполненные – чересчур много пассажиров с окраин – перроны, которые разваливаются на глазах, чересчур дорогие проездные, опоздания поездов, из-за которых приходится бежать со всех ног, чтобы не опоздать на первый урок, контролеры, от которых нужно прятаться в туалете.

Местные дети делятся на две группы: те, кто учится в округе, и те, кто, как и я, ездит на общественном транспорте в Рим; и, каким бы диким это ни казалось, нас не так уж и мало, моя мать не единственная считает, что электричка удобная, а римские школы куда лучше здешних.

Каждое утро я встаю в семь и жду автобус до станции – наконец-то муниципалитет сподобился запустить их, – оказавшись на станции, я вижу чужие портфели, носы, синяки под глазами, они тоже направляются в школу; все выходят на разных остановках, мы смешиваемся со старшеклассниками, другими ребятами из средней школы, военными, которые едут из Чезано в Тремине, и работающими в Сан-Пьетро клерками с портфелями в руках.

Первое время я молчу, я, как личинка, кокон, сосредоточенно и почтительно слушаю гул собственных хромающих мыслей, воспринимаю людей в поезде, окна, подголовники, вдыхаю назойливые запахи замкнутого пространства: утренний пот, щекочущую нос отдушку дезодоранта, – сижу отдельно от всех, держа на коленях рюкзак – раньше его носил Мариано, потом мать подлатала дно картоном и передала его мне. Я написала на кармашке свое имя, за что мать меня обругала, ведь рюкзак, говорит она, потом сгодится Майклу или Роберто, нельзя его пачкать, нельзя на нем рисовать, нельзя делать его девчачьим. Был черным, черным и должен остаться.

Однако лица на станции всегда одни и те же, наши взгляды встречаются, мы узнаем друг друга в школе, даже если учимся в разных классах, – мы, дети из Ангвиллары, волчья стая, львиный прайд, начинаем встречаться на переменах, болтать в поезде, здороваться в коридоре.

Так я знакоюсь с Агатой и Карлоттой.

Агата – хрупкая блондинка, ее улыбка похожа на полумесяц, а ресницы светлые, она постоянно жалуется, что недостаточно красива, приписывает себе недостатки, известные лишь ей самой, на самом деле она притягивает внимание сверстников, и не только высокими хво-

стиками и загорелой кожей; ее отец держит коров и свиней, а еще заготавливает сено, поэтому подолгу находится на солнце – одна из семейных обязанностей.

Другая моя подруга раньше времени стала похожа на зрелую женщину: у нее мягкие очертания бедер, крепкие ноги, она носит блузки с вырезом, смеется по-особенному, с присвистыванием, она умеет быть покорной; ее асимметричное лицо мало кому нравится – слишком большие уши, широкий подбородок, маленькие темные глазки, но в ней есть уверенность, которой так недостает нам с Агатой, девочкам, переживающим из-за веснушек и кривых ног.

Но мне без разницы, зачем оценивать, принцессы мои подруги или нет; раз мы встретились по необходимости, мы – как три замка на скале, которым нужны войско и тот, кто будет командовать крепостью.

Мы еще достаточно маленькие, чтобы не наблюдать с одержимостью за своим и чужими телами, но уже достаточно взрослые, чтобы предугадать, что со временем мы начнем смотреть друг на друга с молчаливой враждой, примкнем к разным лагерям и будем метать в спину недругам отравленные стрелы.

– У тебя новая толстовка? – спрашивает Карлотта.

– Нет, у брата взяла, а что? – отвечаю я.

– Она зеленая, как маркер, черт-те что!

– Что было, то и надела.

– Ты похожа на мультяшку.

Тройка никогда не была моей любимой цифрой, из-за нее я как будто не в своей тарелке, потому что привыкла к большим числам, к семьям, где минимум пять человек, к застольям, на которых кто-то всегда кричит, к плачу в соседней комнате, и когда я слышу тишину, то мне страшно.

Нас слишком мало, чтобы мы могли утешить друг друга, и слишком много, чтобы я чувствовала заботу.

Я и мать, я и Мариано, я и отец, мы – банда, шумное семейство.

Наша же дружба втроем, с самого начала нескладная, вызывает у меня недоверие.

Кроме того, я не создана для дружбы: не понимаю, как она развивается, отчего возникает недопонимание, не знаю, когда ответить, когда промолчать, не могу позвать подруг в гости, некому отвезти меня в гости к ним; мать говорит, что нужно подождать еще минимум год, пока можно будет гулять после обеда, а еще во мне нет ничего интересного, мне нечего рассказать, у меня нет игрушек, косметики, нет одежды, чтобы одолжить подругам, я могу предложить им только толстовки брата, подгузники близнецов и отцовское инвалидное кресло.

Я не обсуждаю с Агатой и Карлоттой то, что происходит дома, киваю, когда они жалуются, что мама подарила кофточку в полоску или розовый велосипед вместо лилового, но моя зависть, как уж, припадает пузом к земле, ползет, не показывается, я скрываю ее где-то в районе кишечника, подкармливаю, когда могу, прячу и тешу себя надеждой, что иметь двух подруг важнее, чем быть им ровней. Поэтому я хвалю их новые кофточки и бусики, радуюсь, когда они оставляют милые надписи в моих школьных тетрадах, мы меняемся заколками для волос и комиксами, хотя мне приходится экономить на полдниках, чтобы их купить.

Время от времени равновесие нарушается и восстанавливается само собой, у меня не получается влиять на него: то они злятся друг на друга или на меня, то Агата, кажется, совсем не замечает меня, то крепко меня обнимает, почти душит в объятиях и просит накрасить ей ногти, пока мы едем в электричке; Карлотта то говорит, что в этой юбке я похожа на циркачку, то хочет сделать мне прическу и дарит свой ободок со стразами.

Не знаю, сочувствуют ли они тому, что я бедная, или же, наоборот, наслаждаются этим, ведь когда они дарят мне вещи, то могут ощутить собственное превосходство – думаю, и то и другое, – я же знаю свое место, этому я отлично научилась дома: если не пытаешься выйти за границы, остаешься там, где тебе положено, – в коробке, в шкафу, в ящике под кроватью, –

значит, никому не мешаешь, не поднимаешь пыль, все тебя терпят и не пытаются дать тебе пинка.

Я часто извиняюсь перед подругами, даже не понимая, почему они разозлились, послушно выполняю непонятные просьбы, подчиняюсь неписаным правилам, угождаю то одной, то другой, киваю, когда одна за глаза обзывает другую, не встаю ни на чью сторону, во время ссор сохраняю нейтралитет, как Швейцария, и если нужно, чтобы все улеглось, размахиваю белым флагом. Я терплю, потому что быть с ними – значит не быть одной: и в школе, и в Ангвилларе, на экскурсиях, во дворе, на станции, у меня есть своя маленькая компания – мы вместе приходим в школу, обмениваемся дневниками для пожеланий, обсуждаем мальчиков постарше, хвастаемся подвигами и завоеваниями, которые по большей части сами и выдумываем, вместе переживаем трагедию маленьких девочек в огромном мире.

В наших отношениях нет места жалости, мы тайком строим друг другу козни, воруем вещи, которыми потом не можем похвалиться, потому что та из нас, у кого что-то украли, заметит пропажу, знаем, что мы друг для друга воровки и соперницы, но продолжаем играть свою роль с неизменными широкими улыбками. Когда приходит угроза извне, мы смыкаем ряды, поднимаем щиты, защищаемся, лжем – одна за другую, – притворяемся, будто больны, ведем войну против давления родителей, учителей-тиранов, злых языков.

Наша дружба – обычная, со смехом и слезами, где все играют роли победителей и побежденных, она натянутая, как резинка, что вот-вот лопнет, наша дружба – невинная, под ней не кроется ничего трагичного.

* * *

У моей школы – желтое лицо с морщинами и корочками на коже, и чтобы оказаться рядом с ней, нужно одолеть крутой подъем.

Кабинетов на всех не хватает, поэтому посреди двора поставили два морских контейнера – самое то, чтобы летом разводить плесень, а зимой помирать от холода, разные классы занимают их по очереди, ведь невзгодами нужно делиться.

Спортзала нет, вместо него площадка, залитая черным асфальтом, поэтому, чтобы мы могли заниматься физкультурой, администрация объединила все недельные уроки в два часа и договорилась с находящимся недалеко спорткомплексом: первые полгода у нас будет плавание в крытом бассейне, потом – теннис в помещении под куполом. Чтобы ходить туда, мы должны доплачивать, а еще сами купить все необходимое: шапочку, купальник, очки, ракетку.

Первые пару месяцев я учусь на втором этаже, занятия в комплексе еще не начались, поэтому вместо физкультуры мы играем в вышибалы на цементной площадке, а для разминки бегаем по кругу.

Агата и Карлотта учатся в другом классе, а с прочими девочками я веду себя осторожно и скрытно, я им не доверяю, некоторые из них – второгодницы, они старше меня, для них я всего лишь ребенок, беспомощный комочек детства, другие стараются как можно быстрее повзрослеть и только подбивают друг друга начать курить и запираются в туалете с мальчишками; когда я отвечаю, что не хочу, сразу становлюсь отщепенкой, на их взгляд, я как разваренная репа на ужин, пресный и скучный гарнир.

Я создаю хрупкие однодневные союзы, не вступаю в разговор первой; едва звенит звонок на перемену, вылетаю из класса и ищу подруг, во дворе мы сидим на парапете, который, как мы решили, теперь наш. Все это: моя парта, мой пенал, туалет, где мы придерживаем друг другу дверь, парапет – неизвестное, пугающее пространство, которое мы хотим обозначить как обжитое, очеловеченное, которым хотим овладеть.

Разговоры моих подруг и одноклассниц на самом деле не сильно отличаются друг от друга, но для меня между ними лежит пропасть, поднимаются высокие волны, а я плыву, держа курс, который сама выбрала для себя.

Одноклассники носят спортивные костюмы из блестящей синтетики, и меньше половины из них могут похвастаться милым обаянием, присущим едва подросткам детям: они хохочут над бессмысленными, пошлыми шутками, хохочут подолгу, им недостаточно просто улыбнуться, и они часами, днями, месяцами смакуют одну и ту же хохму, как помешанные или одержимые; один из них умеет шевелить ушами и бесконечно этим горд, другой настолько худой, что у него через футболку проступают ключицы, у третьего вечно сальные волосы, и он никогда не снимает кепку; интересные парни – как из другой галактики, они старше, учатся в других классах, а в Ангвилларе, особенно там, ребята из школы – пустое место, никак не объяснить, кто они, и вот их уже и след простыл.

Моя единственная задача – не получать плохих оценок, заниматься даже в электричке и вечерами показывать матери, что я делаю все, что от меня требуется, чтобы ее не вызвали в школу, потому что тогда придется рассказать, почему она пришла одна, кем работает, откуда мы родом, а я не хочу, чтобы она об этом рассказывала.

Учительница математики обожает раздавать нам прозвища, и меня она окрестила Кислотность-Четыре-С-Половиной, потому что я язвительно, по ее мнению, отвечаю на то, что она считает сочувствием. У учительницы английского обсессивно-компульсивное расстройство, и если мы ошибаемся в форме глагола или множественного числа, она заставляет нас сто раз писать это слово – у меня вся тетрадь исписана предлогами, местоимениями, переходными глаголами. Учительница итальянского ненавидит мои сочинения, считает, что я всегда отхожу от темы, поэтому то и дело ставит мне тройки с минусом, даже с двумя минусами; как только мы начинаем шуметь, она выходит из себя, захлопывает журнал и, держа его обеими руками, замахивается им и что есть силы ударяет об стол. Но главное наказание – учительница технологии: я неряха, недорисовываю до конца круги, смазываю все линии, линейка дрожит у меня в руках, а папка досталась мне от Мариано, на ней еще остались написанные или процарапанные им буквы «А», похожие на знак анархии, мать так и не смогла их стереть. Я пашу как проклятая, чтобы получить проходной балл по технологии, и неплохо справляюсь на устном экзамене: заучиваю наизусть, как строят панельные дома и делают разводку проводов, как сделать прочный каркас и саму постройку, стараюсь досконально изучить, как производят текстиль и керамику. Показываю отцу чертежи, а он лишь потешается над ними и, то и дело теряя терпение, пытается объяснить, как, по его мнению, надо их рисовать, но ни он, ни мать не учились, не чертили, не писали, не переводили, или, если когда-нибудь и занимались этим, жизнь заставила их все забыть.

Когда чертежи задают на дом, Мариано исправляет их за мной, сидит над листом часами, хотя очевидно, что он бы мог найти себе занятие поинтереснее, чем орудовать циркулем и черной гелевой ручкой; однако нам не удается одурачить учительницу: она просит меня повторить чертеж в классе, и я – еще и потому, что левша, – начинаю сажать на лист кляксы и не могу провести ни одной линии перпендикулярно другой.

Но тиранить меня начинают не из-за сложностей в учебе, наоборот, быть неумехой, отстающей – способ защитить себя, потому что отличники заодно с учителями, они предатели; одноклассники готовы наброситься на меня, точно каннибалы, и разорвать на куски, потому что мое тело деформируется, вытягивается, расслаивается, и они дотошно цепляются к каждому несовершенству, к каждой вещи не по размеру, к каждому пятнышку на лице.

Никто не избежит издевательств, и понять, почему они появляются, невозможно; в моем случае, чтобы разразилась война, достаточно неудачной стрижки.

Мы никогда не могли себе позволить поход в парикмахерскую, и всех, детей и взрослых, стригла мать, в том числе и саму себя; недавно она решила, что меня пора как следует постричь,

потому что я слишком сильно обросла, а кончики стали сечеными, она отрезала мне волосы по подбородок, а две передние пряди сделала еще короче, так что ими нельзя прикрыть уши – теперь мои рыжие пористые волосы, постриженные под каре, как бы обрамляют их.

Как только я вхожу в класс, одноклассники замечают, что с моей прической что-то не так, и тут же начинают хохмить: говорят, что у меня огромные уши, а еще я похожа на мухомор или на красный мох, называют Красной Шапочкой, слоненком Дамбо; когда на перемене я выхожу в коридор, рисуют на парте человечков с гигантскими ушами; стоит мне я повернуться к ним спиной, изображают летящий самолет, намекая, что с такими здоровенными ушами я того гляди взлечу.

Я снова смотрюсь в зеркало, как в начальной школе, когда смеялись над моими губами «уточкой», изучаю свои уши и не замечаю, что с ними что-то не так, поэтому начинаю во всем винить мать.

– Ты подстригла меня слишком коротко, как мальчишку, – восклицаю я в слезах, когда прихожу из школы.

– Неправда, тебе очень идет, – защищается она.

– Я похожа на какого-то тупого пупса, у меня ни сисек нет, ни волос.

– Есть у тебя и то и другое, а ты дуручка, раз плачешь из-за такой ерунды. Бывают в мире вещи и похуже, чем твои волосы, нашла из-за чего расстраиваться.

– Для тебя все хуже, чем мои проблемы.

– Ты понятия не имеешь, что такое проблемы, – говорит мать. – Я не собираюсь тратить деньги на стрижку, и так нормально. Надень ободок, заколи волосы, если они тебе мешают, и иди учишься: школа не для того, чтобы наряжаться, – отрезает она и, фыркнув, отправляется гладить белье, как будто мало ей забот в чужих домах, надо и в своем все делать.

Я бегом отправляюсь к себе и пытаюсь открыть дверь, но комната заперта на ключ, я стучу снова и снова – Мариано забаррикадировался там с подружкой, говорит, она пришла вместе делать уроки.

Я думаю, что ненавижу их всех, сажусь на пол, оперевшись спиной о дверь, и жду, когда «подружка» брата оденется и он наконец выпустит меня.

По правде говоря, одноклассникам быстро надоедает смеяться над моими ушами – всем, кроме одного.

* * *

Его зовут Алессандро, он выше меня ростом, может положить подбородок мне на макушку. Он носит очки в тонкой оправе, отлично играет в футбол и постоянно чеканит мяч на школьном дворе; у него темные и густые кудрявые волосы, каждый месяц у него новая пара кроссовок, его родители держат кондитерскую, куда ходят все местные.

Он считает, что насмешки прекратились слишком быстро, и продолжает подтрунивать надо мной: одинокий всадник в бронзовых доспехах против меня, пешей и безоружной. Теперь он зовет меня исключительно «Ушастая» – в классе, в коридорах, на перемене, у выхода, в автобусе, на котором мы едем на экскурсию; пишет это мне на парте, в тетради, постоянно кричит при всех:

– Ушастая, иди сюда! Ушастая, сделай то-то! Ушастая, вали отсюда.

Сначала я злюсь, жалуясь дома и в школе, пытаюсь обратить на это внимание учителей, но, кажется, всем без разницы, что меня это задевает, они только улыбаются и пожимают плечами, мол, со всеми бывает, и со мной тоже.

Тогда я решаю, что лучше всего не обращать на него внимания, я не оборачиваюсь, когда слышу: «Эй, Ушастая!» – не здороваюсь, когда он проходит мимо, не хожу туда, где могу его встретить; если на уроке нас обоих вызывают к доске, не подсказываю ему, упорно не реагирую,

полна решимости постоять за себя, я отступаю и прячусь в укрытие и тем самым вывожу его из себя, ведь насмешки должны вызывать досаду, а шутки – порождать обиду.

Однажды утром мы бегаем кругами во дворе, как всегда во время разминки, и Алессандро говорит мне:

– Аккуратно, Ушастая, а то споткнешься.

Он ставит мне подножку, и я грохаюсь на землю.

Я падаю лицом на асфальт, ударяюсь подбородком, рассекаю кожу, кровь из раны хлещет на футболку, черная асфальтовая крошка саднит ладони, колени дрожат: я не ожидала нападения, не смогла его предотвратить.

Он смотрит на меня, но не радуется, видит кровь и на секунду теряется, чувствует, что перестарался, протягивает руку, чтобы помочь мне встать. Я не подаю ему руки, встаю сама и молча иду в туалет, чтобы смыть грязь и кровь.

– Ушастая, прости, я не нарочно, – пытается извиниться Алессандро, он поджидает меня около туалета, но я не отвечаю.

Он пытается загладить вину и называет меня по имени, но я продолжаю молчать, выхожу на улицу и снова принимаюсь бегать кругами, несмотря на то что ноги болят, потом устраиваюсь в теньке и наблюдаю, как ребята, Алессандро в том числе, играют в вышибалы. Его команда выигрывает, и я смотрю, как они ликуют.

Учительница ничего не заметила, не пожалела меня, она приходит на физкультуру в твидовой юбке, сапожках и берете, у нее всегда ярко-розовый лак на ногтях, она больше курит, чем бегают.

Вечером я объясняю матери, что упала, споткнувшись о корни сосны, торчащие из-под асфальта на площадке.

Мать говорит:

– Я схожу в школу и потребую их выкорчевать.

Я отвечаю:

– Пожалуйста, не надо.

Этот случай заставляет Алессандро уgomониться, но ненадолго. Вскоре он снова принимается за старое, подговаривает остальных звать меня так же, как и он, чтобы настоящая я исчезла навсегда, он создает мне новую личность, по прозвищу Ушастая: она уродливая, щуплая, плоскогрудая, не умеет целоваться и чертить равнобедренные треугольники.

Когда одноклассники устраивают вечеринки, он настаивает, чтобы меня не звали, затем узнает наш домашний номер телефона, звонит, произносит только одно слово: «Ушастая», – и тут же сбрасывает или молчит, если думает, что трубку сняла мать или Мариано. Он подговаривает звонить и других, как правило, незнакомцев, поэтому телефон часами трезвонит даже по ночам, но я не сдаюсь, не говорю матери, что происходит, потому что, если она возьмет дело в свои руки, мне придется признать поражение.

Конечно, если я признаюсь матери или Мариано, они вмешаются, проблема решится: мать будет рвать и метать, Мариано подкараулит Алессандро около школы и избьет, как уже было однажды. Они умеют восстанавливать справедливость, но в этот раз я вижу ситуацию иначе: я чувствую, что повзрослела, и хочу научиться защищать себя сама.

Школа становится мне в тягость: ни дня без шепотков, смешков, обнаженных клыков, – такое чувство, будто из меня высасывают все соки, как будто вампиры пьют кровь из вен, потому что я вялая и постоянно хочу спать.

Начинаются занятия в крытом бассейне, и дела идут еще хуже: купальник, который сшила мать, мал мне в бедрах, поэтому его приходится постоянно поправлять, у меня розовая шапочка для бассейна, как у старушек, с резиновыми цветами, и из-под нее торчат рыжие вихры, ноги худющие и все в веснушках, грудь плоская, как доска, небритые подмышки и

голени; очевидно, мой конец близок: не будет больше той меня, девочки, которая не бывает первой во всем, но и не плетется в конце.

Поводов издеваться надо мной становится все больше, я как будто сама на них напрашиваюсь: ношу слишком большие салатные шлепанцы, не умею плавать брассом, то и дело рискую захлебнуться.

По возвращении в класс я сажусь за парту с таким видом, будто забираюсь на вершину башни.

Другие девочки на Рождество получают свои первые мобильники, серые и длинные, как бананы, звонят подружкам и сбрасывают, чтобы показать, что помнят друг о друге, обмениваются сообщениями с ошибками и всякими «я тя лю».

Меня нет на этой фотографии, я сама себя исключила, вырезала, как вырезала и из группового портрета во время экскурсии в Музей этрусков на вилле Джулия, нам показывали кучу черепков и осколков, статуэток, шкатулок – в общем, скука смертная. Когда мне отдают снимок, напечатанный на плотной блестящей бумаге, я начинаю орудовать ножницами и отрезаю себе голову – маленький квадратик в левом верхнем углу. Клац-клац, и вот квадратик падает на пол. Квадратик, а на нем лицо Ушастой, не мое, я не знаю, кто она, и мечтаю как можно скорее забыть ее.

Я поднимаю портрет и кладу его в отцовскую пепельницу, я знаю, что он тушит в ней окурки не глядя, так вышло и на этот раз, после ужина, сигарета насквозь прожигает фотографию.

* * *

Когда я обнаруживаю, что между ног стекает кровь, я не злюсь, не пугаюсь, а решительно иду к Антонии, держа в руке трусы, по пояс голая, и спрашиваю, что делать. Она отводит меня в ванную, достает прокладки, вытаскивает одну из упаковки и приклеивает к чистым трусам, расправив и прижав крылышки поплотнее к ткани, потом объясняет, что с сегодняшнего дня я еще много лет буду каждый месяц повторять этот ритуал. Она показывает, где хранятся теперь уже наши прокладки, трех видов: самые темные – для первых дней, фиолетовые – когда будет меньше болеть живот, розовые – на конец цикла, если будет мало крови.

Если крови слишком много, сразу же говори мне; если ничего не происходит, сразу же говори мне; если в школе разболится живот, отпрашивайся домой; если чувствуешь, что давление упало или кружится голова, ложись в кровать.

Нужно постоянно мыться, даже если от вида крови нехорошо, нужно принять душ, все время пользоваться биде, сразу же стирать трусы и простыни, иначе останутся пятна.

Но самое главное – осторожней с парнями, это твоя ответственность, ты должна за всем следить, даже когда они говорят: «Доверься мне», – даже если они как будто понимают, на самом деле нет, знай, что ты теперь можешь иметь детей, и как сделать так, чтобы их не было, это твоя забота. Не будь как я: в семнадцать я уже родила Мариано от парня по прозвищу Тони, он до сих пор сидит в тюрьме за убийство.

– А Мариано в курсе? – спрашиваю я.

– Нет, и не должен. Хватит нам бесполезных мужиков.

Антония заливает мои грязные трусы отбеливателем, а у меня вдруг сворачивает живот.

С этих пор мать озадачена, ведь теперь нам с братом как-то неловко спать рядом, нужно что-то решать.

Она протягивает веревку из одного угла комнаты в другой, сшивает вместе несколько простыней и вешает между нашими кроватями, теперь я могу переодеваться за шторой и передвигаться так, чтобы он меня не увидел.

– Это что за цирк? – интересуется брат, заходя в комнату.

– Твоей сестре нужно личное пространство, – отвечает мать.

Так возникает пропасть между мной-девочкой, которая могла слышать, как Мариано разговаривает во сне, и мной-женщиной, которая должна перестать слушать, теперь у нас разные игры, разная одежда, постельное белье из разных комплектов, над моей кроватью висят плакаты, над его – флаги политических организаций; это похоже на театр теней: я вижу, как брат, точно марионетка, появляется и исчезает за полотном ткани.

Мое тело действительно меняется, и все, кроме меня, этим обеспокоены, отец становится непривычно ревнивым и подозрительным, спрашивает, с кем я общаюсь, кто мне звонит, кто мои друзья и враги. Он взял моду листать мои тетради и дневники, если у него выходит их заполучить, его гнетет то, что я в этом мире – как неоперившийся птенчик, без отца, который бы мог меня защитить.

Раньше он будто совсем не боялся за меня, но когда я начинаю сбрасывать кожу, как змея, отец упорно требует, чтобы Мариано приглядывал за мной, постоянно твердит: «Смотри, чем она занята, куда ходит». Мариано отвечает, что в няньки он не нанимался, и они переходят на крик.

За завтраком, обедом и ужином все ругаются и клянут друг друга, но причиной самой жуткой ссоры становится ракетка.

Занятия в бассейне закончились, и мы вот-вот начнем играть в теннис, а ракетки у меня еще нет, потому что подержанную мы не нашли, а новая слишком дорогая.

Мать, видя, что я в последнее время мрачнее тучи, решает, что ракетку обязательно нужно купить, и откладывает деньги, экономит на других покупках: сигаретах для отца и брата, плате за электричество, телефон, продуктах, краске для волос, которой она пользуется.

– И зачем ей эти уроки тенниса? Пустая трата денег, что на помойку выбросить, – распаляется отец за ужином, нависая над тарелкой с вареной морковью и мягким сыром.

– Массимо, да не в уроках дело, туда все дети ходят, значит, и наша пойдет, так нужно, и именно сейчас, – отвечает мать и так грохает стаканом об стол, что вода выплескивается наружу.

– Он прав, что за чушь? Ей еще и тринадцати нет, она сходит на два занятия и забросит, – подливает масла в огонь Мариано, неожиданно вставая на сторону отца.

Теперь, когда я стала женщиной, эти двое вспомнили, что они мужчины, и заключили новый внезапный союз.

– Может, я недостаточно ясно выразилась: я не спрашиваю у вас разрешения, я говорю, что теперь буду откладывать деньги на ракетку, и чтобы ее купить, каждому придется чем-то пожертвовать, – заявляет мать и бросает на брата резкий взгляд.

– И что, всем так можно? Мы все получим по ракетке? Я, например, тоже хочу, – заходится Мариано с полным ртом хлеба.

– Не надо меня шантажировать, ты ничего не получишь, твоей сестре сейчас тяжело. Я, как мать, знаю, о чем говорю, а ты, как брат, должен попытаться понять. А ты вместо этого вечно шляешься где-то, по своим делам, собраниям, сходкам – думаешь, мы ничего не видим и не понимаем?

– А чего это ей тяжело? Потому что у нее прыщи и плоская жопа? И это, по-твоему, сложности? Какая же ты лицемерка.

– Это я вас всех содержу, вы без меня никто.

Мать встает и грохает тарелкой об стол, та разбивается, куски моркови разлетаются во все стороны, на скатерти проступает пятно, близнецы режут.

Я холодна и неподвижна, как восковая свеча, потухшая и нетвердо стоящая в своем подсвечнике.

Несмотря ни на что, через неделю я получаю ракетку, а домашние перестают разговаривать между собой: как обычно, Антония что-то отняла у отца и у брата, и теперь это разговоры и внимание с ее стороны.

Начинаются уроки тенниса, и я осознаю, что должна стараться изо всех сил; я осторожно укладываю ракетку в чехол, это одна из первых новых вещей, что у меня есть, и она только моя, я чувствую, что должна беречь ее.

Каждый раз, когда прихожу домой, я рассказываю Антонии, чему научилась, как правильно подавать, как должны пружинить ноги, сколько мячей отбила, сколько штрафных кругов пробежала. Теннис мне не нравится, но я предана своей ракетке, гляжу на нее с нежностью: она дорогого стоила – пришлось слушать ругань Мариано и то, как бранит его мать, – поэтому я должна оберегать эту вещь.

Стоять на корте и играть в теннис получается куда лучше, чем плавать в бассейне; мой спортивный костюм не особо красивый, он обычный и ничем не примечательный, без заплаток, без нарисованных цветочков, ракетка дешевле, чем у остальных, зато начищенная до блеска, я гордо несу чехол через плечо, хвастаюсь им на остановке, щеголяю перед подругами: она новая, повторяю я, совсем-совсем новая.

У них есть мобильники, есть проколы в ушах и жемчужные сережки, зато у меня есть ракетка, а на все остальное наплевать.

Пока однажды кое-кто не решает ее сломать.

Чем меньше внимания я обращаю на Алессандро, тем сильнее этот подлец заводится, его лицо вспыхивает от ярости всякий раз, когда я упорно не гляжу в его сторону, он чувствует себя бесполезным, как будто моет по мытому.

Он становится хитрее, как комар, который точно знает, где лучшее место для укуса: он берет из дома секатор, прячет его в рюкзак и, пока я умываюсь в туалете, портит струны на ракетке, режет их, точно вены. Он вырезает дыру в самом центре сетки – теперь этой ракеткой нельзя играть, – прячет секатор, возвращает ракетку туда, где я ее оставила, на скамейку, и, ускользнув от невнимательных взглядов учителей и глаз одноклассников, которые явно заодно с ним, возвращается на корт.

Я нахожу искаленную ракетку возле сумки, где ношу чистую футболку и сменные трусы; с порезанными струнами она больше не такая крепкая и сильная, как раньше, а слабая, дряблая, это непонятный и беспомощный овальный предмет с непонятно зачем нужной ручкой.

Я вижу, что Алессандро смотрит на меня и самодовольно ухмыляется, гордый своим упорством, я уверена: это его рук дело.

Партии и тренировки возобновляются, но я больше не могу играть, я сижу на скамейке, как пораженная молнией, как лампочка без электричества, в голове скачут мысли, одна обгоняет другую: сколько стоит починить ракетку? когда я наконец решусь признаться во всем матери? как она на меня посмотрит – как на дурочку, потому что я не уберегла свое сокровище?

После двух уроков я поднимаюсь с лавки и подхожу к Алессандро.

– Можем поговорить? – спрашиваю я.

– О чем, Ушастая?

– О ракетке.

– Нет.

– Это ведь ты, да? – Я показываю ему сломанную, проломленную, продырявленную ракетку, а он только пожимает плечами.

Тем временем остальные уходят с крытого корта, и учительница, пользуясь случаем – раз уж мы последние, – поручает нам собрать желтые мячи и конусы для разметки поля.

– Это ты? – повторяю я, не обращая на нее внимания.

Теперь мы одни.

– Может быть, – улыбается он.

Он уверен, что это просто шалость, безобидное баловство, как ущипнуть за бок, столкнуться с качелей или дернуть за волосы.

Я думаю о нем, о часах на запястье, которые стоят как три мои ракетки, об уложенных гелем вихрах, о мопеде, который ему уже пообещали на четырнадцатый день рождения, о брендовых футболках и очках с диоптриями, о безумно вкусных пирожных с кремом, которые печет его мать, о нежно-розовой глазури, а потом о скатерти в клеточку у нас дома, о разбитой тарелке, о моркови, о стиральном порошке по акции, о Мариано, который теперь меня терпеть не может и видит только мою тень за шторой, думаю о немке, которая запрещала мне играть с рыбками, о воротах, которые украли фашисты, об Антонии, которая делает вид, что «колется», тыкая себе в руку воображаемым шприцем, о коробке, где приходилось спать близнецам, об отце, лежащем без ног в отделении интенсивной терапии, – и заносу руку для удара.

Я вскидываю ракетку в воздух, держась за рукоять обеими руками, и бью Алессандро по колену – один раз, два, три, пять... На седьмом ударе он с криком падает на землю.

Кровь из раны льется на кирпично-красный пол, парень пытается подняться, но у него не выходит, я отшвыриваю измазанную кровью ракетку; я знаю: расскажи я обо всем учительнице, она бы придумала, как починить ракетку, вызвала бы родителей Алессандро в школу, а они бы наверняка извинились, – но мне сейчас нужно не это. Пока он валяется на земле с разбитым коленом, я направляюсь за его сумкой, открываю ее, забираю его ракетку и кладу в свой чехол, не говорю, что это честный обмен, не претендую на извинения и компенсацию.

Он чертыхается, вопит до хрипоты, я выхожу с площадки, бегом спускаюсь по ступенькам, что ведут из зала на улицу, иду дальше мимо заправки, на привокзальную площадь, на плече у меня чехол с ракеткой, я сажусь на скамейку и жду свою электричку, отправление в 13:23, до станции Витербо Порта Романа, вижу Карлотту; она спрашивает, как у меня дела.

Я отвечаю:

– Кажется, поезд опаздывает уже на пять минут.

Может, дело не в розах, сорванных в парке, не в книгах, вовремя не сданных в библиотеку, не в том, что ты жуешь с раскрытым ртом, не в том, чтобы обгонять другие машины по обочине, не в том, чтобы ругаться с другими детьми из-за пачки жевательного мармелада, не во лжи и не в дурных намерениях, но именно так можно стать «гадиной».

Мир – это слишком холодный бассейн

В детстве залитая цементом квадратная площадка, которую мать облагородила для нас с Мариано, была единственным местом для игр. В начальной школе не было ни сквера, ни футбольного поля, на переменах мы слонялись по коридорам, потому что поперек двора лежала поваленная сосна: это место огородили красно-белой лентой, чтобы обозначить, что детям нельзя туда подходить, но сосну так никто и не убрал, а если ленты рвались, кто-нибудь связывал обрывки между собой. Все пять лет из окна нашего кабинета я наблюдала, как дерево с его огромным стволом, усыпанное иголками и шишками, с корнями, сгнившими из-за того, что они слишком долго лежали под цементом, дремлет, растянувшись на земле, как будто его судьба – отражение наших ошибок.

Все детские площадки возле нашего первого дома были завалены шприцами, даже днем на скамейках там сидели мужчины и женщины с вытянутыми вперед руками, и в венах у них все еще торчали иглы: они забыли вытащить их, и никто не утруждал себя тем, чтобы помочь им.

Когда Антония видела кого-то из них, она подходила и говорила:

– Пожалуйста, кто-нибудь, достаньте иглу у него из руки.

А мне хотелось разрыдаться от ярости. Эти люди могли напасть на нее, втянуть в свои дела, покалечить – я боялась их и совсем им не сочувствовала.

Мать установила такое правило: играть вдвоем только рядом с домом и никого не звать в игру. У нас не было никаких качелей, горок, пустырей, где можно врезаться друг в друга на велосипеде.

Антония боялась, что если мы отойдем от дома, то столкнемся с играми, которые она не раз видела в детстве, – там, где детям нет места, где царит упадок.

Антония рассказала мне, что однажды, когда она была маленькой, в их районе расклеили афиши, на которых было написано, что в округе строится общественный бассейн, где будут уроки плавания для местных, детям и пенсионерам скидки. Администрация города обещала им новые здания, автобусные маршруты, вывоз мусора, остановить ночную торговлю наркотиками.

Строительство и правда началось: вырыли котлован, приехали бульдозеры, залили цементом фундамент, прибыли инженеры, появились планы эксплуатации, прикатили мэр и член управы – все хотели посмотреть на то, что так никогда и не достроили.

Бассейн был закончен, но официально его не открыли. Все залили бетоном, сделали гидроизоляцию, поставили трамплины, но воду так и не пустили.

Со временем местный бассейн превратился в собственный призрак, пародию на самого себя, насмешку: то, что должно было дать району новую жизнь, стало его погибелью. Жители начали сбрасывать в бассейн мусор и старую ненужную мебель, матрасы, протертые кресла, битый кафель из ванной, выхлопные трубы; вместо хлорки туда лили яды и средства от насекомых, вместо спасателей развелись крысы и тараканы.

И все равно эта свалка ненужных вещей, испускавшая мерзкий запах халатности и забвения, стала местом детских игр. Ведь у детей не было других мест для встреч: ни скверов, ни площадей; в церковь они намеренно не совались. Именно там моя мать с подругами назначали встречи, так и говорили:

– Увидимся у бассейна.

Бассейн был похож на прорвавшийся гнойник несдержанных обещаний, дети сидели на трамплинах, свесив ноги над рассадником болезней. Дети играли в прятки, используя как укрытие остовы того, что должно было стать кабинками для переодевания, курили, затаившись за огромным полотнищем, на котором еще сохранилась надпись «Скоро открытие!»

Были назначены время и место, все было сделано, но открытия так и не случилось. От дождей потрескалась краска, отвалилась кафельная плитка. Фирма, выигравшая тендер, объявила себя банкротом, началось следствие о хищении средств, но его не довели до конца, судебные документы запихнули в кипу других подобных им документов, нераскрытых дел, неопознанных трупов.

Мать призналась, что тогда она перестала надеяться: когда власти обещали навести чистоту и порядок в районе, помочь тем, кто оказался на улице, дать квартиры семьям, в которых родители остались без работы, построить новую игровую площадку, новую трамвайную ветку, новую больницу, она лишь горько усмехалась.

Антония перестала ждать, пока кто-то наведет порядок, она решила взяться за дело сама. Ее дети не будут играть в бассейне, напоминающем не то лужу, не то мираж в пустыне. Если надо убрать, она уберет; если надо запретить – запретит; если надо установить границы – установит.

Когда мать замечает, что прямо на площадке перед нашим домом в Ангвилларе ставят карусели, она видит в этом знак, что она все сделала правильно; возможно, она забыла, насколько опасными могут быть детские игры, забыла, что на ярмарке, если хочешь выиграть золотую рыбку или плюшевого слона – самый ценный приз, – ты должен как следует прицелиться и выстрелить.

* * *

Аттракционы в пригороде ставят раз в год на две недели, во время пасхальных каникул. В одном углу площади устанавливают странные серебристые космические корабли, которые то поднимаются, то опускаются, нос у них красный, как у ракеты, катаются на них в основном дети: тащат родителей, тыкают пальчиками вверх, думая, будто механическое, повторяющееся движение карусели – то же самое, что полет к неизведанному.

Не обходится и без аттракциона, который мы называем «пинок под зад»: к вращающемуся кругу снизу привешены качели на цепях, и когда карусель разгоняется, они взмывают ввысь; побеждает в этой игре тот, кто сможет достаточно сильно пнуть летящее впереди него сиденье и добраться до приза, который обычно висит на шесте. Это соревнование может вылиться как в простую детскую шалость, если карусель крутится медленно, так и в бешеную гонку, если за ним стоят разухабистые ребята вроде нас, подростков, – да, это мы, или по крайней мере мы хотим ими казаться, ведь нам всего по двенадцать лет, мы ни рыба ни мясо, нас тошнит от красномордых ракет, но нет денег на мопеды и сигареты.

Все наше внимание приковано к трем аттракционам.

Первый – силомер, стойка с привешенной к ней овальной боксерской грушей: чем сильнее ударишь, тем больше очков получишь. Мальчишки часами, днями простаивают у него, соревнуются, у кого удар крепче: кто-то пытается бить с разбегу, кто-то задирает вверх локти и хмурит лоб; кому не удалось заставить грушу хотя бы пошелохнуться, тот проиграл, и его ждет позор. Мы, девочки, сбиваемся в кружок у силомера и наблюдаем, как побеждают и проигрывают мальчишки, болеем или хохочем, издеваемся над ними – безбородыми, бесполоыми еще существами, – подначиваем: ну же, будь мужиком. На того, кто ударил сильнее, смотрят с уважением, он, как рыцарь в доспехах, гордо шагает, выпятив грудь вперед. Нам, девчонкам, не разрешается участвовать, да и не хочется: женщина, которая дерется и может задать трепку, теряет очарование, она непривлекательна, – и те из нас, кто подходит к силомеру, делают это с издевкой, ударяют вполсилы и обычно не получают и половины балла, мы бьем с той же силой, что и грудные младенцы.

Второй – любимый аттракцион Карлотты – автодром. В самом центре площади, прямо под балконом нашей квартиры, устраивают черный крытый трек, под тентом носятся двухмест-

ные машинки с потертым кожаным рулем, у каждой номер на боку, и вся забава в том, чтобы врезаться в других водителей; толстый резиновый бампер, закрывающий машину со всех сторон, смягчает удар. Но нам мало просто сталкиваться потехи ради – мы нацеливаемся друг на друга, мальчишки присматриваются издалека, нарезают круги, выбирают машину, чтобы что есть силы врубиться в нее, при каждом столкновении раздаются треск и ругань. Но Карлотта любит автодром не за это, сам по себе он – детская игрушка, а мы захватили его, сделав непригодным для малышей; дело в том, что работник за пультом придумал новое развлечение – игру на поцелуи.

Во время езды вдруг включается сирена и аттракцион останавливается, тогда работник называет номер машинки, водитель должен вылезти из нее и поцеловать кого захочет, а тот, кого поцеловали, получает жетон на бесплатный круг. Карлотта страстно горит желанием выиграть как можно больше поцелуев, и в компанию себе она всегда выбирает Агату, потому что ее целуют чаще, чем меня, я же похожа на привидение. От одной лишь мысли о том, что могут назвать номер моей машинки, меня начинает трясти, ладони потеют, я не знаю, к кому подойти, не знаю, что делать. Конечно, среди мальчиков есть те, кто мне нравится, те, чей поцелуй меня бы обрадовал, и больше всех – одного из ребят. Его зовут Андреа, он долговязый, с длинной челкой, разделенной на прямой пробор, в отличие от остальных, он не говорит на диалекте, носит яркие футболки, у него большие круглые глаза, и нравится он многим из нас: он умеет выкручиваться, выходить из ситуации, если на него наезжают, отвечает, если с него спрашивают, не отступает без боя, он не забияка, первым не полезет на рожон.

Меня дрожь берет, когда я представляю, как он вылезает из-за руля и направляется в мою сторону, когда называют номер его машинки, но он никогда так не делает, заставляет друга встать за него, а сам остается на месте. Я не понимаю, куда он смотрит, на меня или нет, о чем думает, над чем смеется, когда шепотом обменивается шутками с приятелями.

Карлотте нравится выбирать, кого целовать, и я ненавижу ее за то, как непринужденно она это делает: ей неведомы муки ожидания, кажется, она готова ко всему, к любым препятствиям и изменениям своего тела. Хотя парни, на которых падает ее взгляд, не особенно этому рады: есть в ней что-то, что их отталкивает, возможно, ее лицо, плохо выщипанные брови, округляющиеся бедра.

Радость, с которой она дарит свою никому не нужную любовь, смущает меня, я отворачиваюсь всякий раз, когда она поднимается со своего места; чтобы укрыться от поцелуев – тех, которые я сама не дарила, и тех, что не дарили мне, – мне остается лишь ездить кругами, выбирать, на ком бы выместить свою злобу, разгоняться и врезаться в противника на всей скорости, с каждым разом удар все сильнее, водитель всем телом подается вперед, наклонив шею и изогнув спину. Мне куда больше удовольствия приносит растерянный вид парней, когда девчонка задает им трепку, чем самодовольный, которым они провожают девочку, что собирается их поцеловать. Я, в бесформенной толстовке, в капюшоне, закрывающем уши, волосы и половину лба, на своем месте, такая же, как они.

– Чего ты бесишься? – спрашивает меня Агата, когда время заканчивается и мы вылезаем из машинки; она выиграла четыре жетона и могла бы провести на автодроме остаток вечера, я же потратила все деньги, которые утром дал Мариано, мне остается лишь стоять за ограждением вместе с прочими неудачниками и смотреть.

– Я не бешусь, в этом суть игры: сталкиваться, а не целоваться, – отвечаю я.

Я говорю это резко, сурово, тоном, какого я раньше за собой не замечала, но победив Алессандро в бою за ракетку, я все чаще чувствую, как этот голос зарождается где-то в районе сонной артерии.

С того дня мой одноклассник ни разу со мной не заговорил, у него не хватило смелости признаться, что его побила девчонка, учителя расспрашивали, родители возмутились, требо-

вали компенсацию, грозились подать в суд на школу, их сыночку пришлось ехать в травмпункт, он больше не может играть в футбол.

– Хочешь пострелять? – спрашивает Андреа, и я оглядываюсь по сторонам, пытаюсь понять, к кому он обращается, поэтому не отвечаю. – Хочешь пострелять? – повторяет он и достает деньги из кармана джинсов: это он мне.

Третий аттракцион, который приковывает наши взгляды, – тир: вдоль стены расставлены пустые банки из-под «Колы», «Спрайта» и «Фанты», уже порядком помятые, тебе дают пистолет или ружье с пулями; чем больше раз попадешь, тем более значимый приз получишь. Уронил три банки – уходишь ни с чем; десять – получаешь маленькую мягкую игрушку: лягушку, мышь или жирафа; тридцать – бутылку из-под шампанского, доверху наполненную шоколадными конфетами; выбил все – выигрываешь огромную плюшевую игрушку, двухметрового розового медведя с бантом на шее и блестящими черными глазами, как у медузы.

Я никогда не стреляла, по мне, так тир – баловство, способ стясти побольше денег, наверняка бо2льшая часть банок приклеена к полкам, поэтому можно уронить не больше тридцати банок, я видела, как люди пытались, но им удавалось настрелять разве что на кулек конфет, чтобы потом съесть их, сидя на парапете, и вернуться с заляпанными шоколадом и табаком джинсами.

Я испытующе смотрю на Андреа и говорю:

– Ладно, давай попробуем.

Он платит за первый круг и начинает стрелять, пистолет держит неправильно, слишком поспешно прицеливается – видно, что с оружием он незнаком, максимум, что он может, это позвать друзей порубиться вместе «до смерти» в видеоигры, сидя на полу в гостиной. Не думаю, что настоящие пистолеты держат как морковку, брокколи или баклажан, как нечто безобидное; нужно четко знать, куда ты хочешь попасть.

Я наблюдаю, как он сбивает несколько банок, другие лишь слегка задевает, остальные не двигаются с места. К нам подходят друзья, Агата и Карлотта подначивают Андреа: мы все знакомы, хоть и не представлялись друг другу, переговариваемся, ведь в наших краях, чтобы влиться в компанию, достаточно малого.

Андреа говорит, что теперь моя очередь, кладет деньги на прилавок, и я читаю в его глазах вызов: то, что казалось дружелюбием, очевидно, обернулось поводом для насмешек. Ведь на автодроме я протаранила его, как сделал бы безответно влюбленный человек, страстно желая быть понятым и принятым, теперь моя очередь страдать.

Я беру в руку пистолет, хозяйка тира говорит, сколько у меня выстрелов, и если захочу больше, нужно доплатить, но тогда счет обнуляется. Один круг – один приз.

Я киваю, и народ расходится, никого не интересует, как стреляет и промахивается рыжая девчонка, которую дурно постригла мать, которая донашивает одежду за братом-анархистом; может, я могла бы их повеселить, но даже смех, если я ему причиной, ничего не стоит.

Когда учительница итальянского увидела, как Алессандро входит в класс на костылях, у нее глаза были на мокром месте, она пробормотала, прижав ладонь ко рту:

– Этого не должно было случиться.

Я сжимаю игрушечный пистолет в кулаке, медленно поднимаю ствол, и в ту секунду, когда прицеливаюсь, прикрыв один глаз, по спине не бегут мурашки, сердце не колотится, только хочется прокричать:

– Смотрите, ну же, теперь я тоже в игре!

Я стреляю, и банки падают, слышится позвякивание алюминия, стук пластиковых пулек, я выбиваю пять и останавливаюсь, кладу руку на прилавок. Не знаю, как мне это удалось, я просто почувствовала, как напрягается предплечье, как палец нажимает на курок, глаза находят мишень, как если бы я впервые запела и оказалось, что у меня ангельский голос.

Андреа весь внимание, пытается отпустить шутку про удачу, списать все на попутный ветер, смеется.

Я снова поднимаю пистолет, целюсь в шестую банку и стреляю, сбиваю еще шесть подряд, перезаряжаю оружие. Хозяйка тира, с сальными волосами, в платье цвета розового шиповника, улыбается и что-то говорит на диалекте, которого я не знаю, поэтому даже не пытаюсь понять ее слова.

Кто-то умеет стоять на одной ноге, как фламинго, кто-то – танцевать, попадая в ритм, который задает барабанщик, кто-то складывает и вычитает без листа бумаги и калькулятора, а я умею стрелять, у меня кривые ноги, огромная толстовка и голова, где нет места мыслям о неясном будущем.

Одна лишь возможность сражаться за приз, получить его, для меня важна, может, другим все равно, но я хочу иметь много вещей, мне нужна куча обуви, куча помад, резинок для волос; этот громадный розовый медведь с круглыми ушами и таким же носом – достойная добыча, настоящее достижение.

Я снова поднимаю пистолет, внимательно смотрю на банки – одна, две, три, дальше; в детстве я никогда не каталась на карусели с лошадками, но мечтала наряжаться как принцесса, носить корону, крепко держать в руке скипетр, но за карусель надо платить, за короны надо платить, за хрустальные туфельки надо платить.

Остается последний выстрел, я чувствую, как за спиной собирается толпа, я притягиваю незаслуженное, нездоровое внимание, люди шепчутся: она совсем ребенок, у нее и мышц на руках нет, у нее денег даже на новые трусы не хватит.

Я буду бегуном, упавшим в двух шагах от конца дистанции, тем, кто останется вторым на фотофинише, лошадю, запнувшейся на последнем повороте, сброшенным жокеем, футболистом, запоровшим пенальти, утешительным призом. Проиграть можно из-за мелочи, проигрывают из-за волнения, из-за невнимательности – это человеческий фактор.

Я стреляю в последний раз, банка из-под «Колы» покачивается, и я понимаю, что никакого обмана нет: все мишени сбиты. Кладу пистолет на прилавок.

Подруги визжат, теперь они наконец-то считают, что дружат с воительницей, а не с уродиной, которую можно бросить у автодрома, которую в школе зовут Ушастой, которая носит вырвиглазные футболки с блошиного рынка. Но я не могу порадоваться, часть меня еще стоит там, застыв на месте, и стреляет.

Я поднимаю глаза на хозяйку тира, она смотрит на меня в ответ.

– Мне нужен приз, – говорю я и вытягиваю руки перед собой. Я готова удержать весь мир, всю Вселенную.

Женщина с трудом вытаскивает из ларька двухметрового медведя, ее даже не видно за игрушкой, она не знает, как дать его мне, я не знаю, как забрать его, он в два раза больше меня, ростом с человека, настоящий гигант. Наконец женщина ставит его на землю и говорит:

– Поздравляю.

Она не рада, скорее удивляется тому, что увидела, спрашивает себя, не обдурила ли я их, если да, то как мне это удалось, кто стрелял вместо меня. Я тоже сомневаюсь, думаю даже, не обернуться ли, чтобы проверить.

В конце концов я решаюсь взглянуть на стоящую передо мной грудю меха, может, нужно обнять медведя, придумать ему имя или, наоборот, бросить его здесь, сказав, что мне нет до него дела.

– Спасибо, что заплатил за меня, – говорю я Андреа, он не может решить, удивляться ему или впадать в ужас.

– Говорят же, новичкам везет, – снова пытается отшутиться он и все пялится на медведя, думает, что тот сейчас повалится на него; Андреа хотел бы посмеяться надо мной, ведь я выиграла совершенно идиотский приз, который никому не нужен, но почему-то ему не смешно.

Я не знаю, что еще добавить, и тут вижу Мариано – он идет от дома к площади забирать меня: уже девять вечера, детям пора спать.

– Это что еще такое? – спрашивает брат.

– Медведь, – отвечаю я и прибавляю: – Помоги занести его домой.

Мариано оглядывает остальных мальчишек, как если бы на их месте росли кусты и камни, без лишних расспросов берет медведя за голову, я держу его за лапы, и так мы тащим исполина до квартиры, поднимаем на этаж, пропихиваем в дверь и, наконец, затаскиваем в комнату, где спрятать его будет невозможно.

Мать включила радио, слушает музыку и напевает отцу что-то из репертуара Патти Право, пока он курит на балконе, они и не подозревают о розовом медведе в соседней комнате.

Но на следующий день мать замечает медведя за шторой, разделяющей комнату на две половины, мою и Мариано, глядит на него, спрашивает, откуда он взялся.

– Выиграла, – объясняю я.

– Как это выиграла?

– На ярмарке.

– И где дают такие призы?

– Там, где стреляют.

Она молчит, потом вспыхивает как спичка, ее челюсти сжимаются, глаза стекленеют.

– Сейчас же верни его.

– Ни за что, я его выиграла.

– Не верю. И он тебе не нужен.

– Всем он нужен.

– Нет, никому он не нужен, это же розовый медведь. Этот мир съехал с катушек, раз детям приходится стрелять, чтобы получить мягкую игрушку.

Я кричу, что она не отберет его у меня, захопываю дверь у нее перед носом, желая, чтобы от этого хлопка задрожал весь дом; мать продолжает орать, что нельзя стрелять понарошку и всерьез тоже нельзя. Но я даже не слушаю, просто смотрю на свой приз: он огромный, невозмутимый, словно сфинкс.

* * *

На дворе лето 2001 года, я закончила среднюю школу, оставила в прошлом учительницу математики с ее любовью к прозвищам-проклятиям, забыла теннисный корт, купальник, который мал в бедрах, спрятала ракетку в шкаф; я не заплатила за свои ошибки, не научилась чертить круги циркулем и проводить прямые линии, я не имею ни малейшего представления о том, что происходит в мире, живу в подвешенном состоянии, в лимбе, между поражениями и неожиданными победами.

Мое детство осталось в прошлом, как и мультики, воительницы в юбках, танцующие перчаточные куклы, реклама магазинных сладостей, музыкальные клипы на MTV, о существовании которых я узнала, лишь увидев их на чужих экранах, по кадрам, случайно попавшимся на глаза, или же тогда, когда я вырвалась из-под материнского надзора и смогла днем ходить в гости к подругам, а там, замороженная, часами внимала всему, что раньше было под запретом, пока подруги болтали как ни в чем не бывало, привыкшие к топ-моделям, открытым пупкам и вечно включенным микрофонам.

Дело в том, что мне тринадцать, а я еще ни с кем не целовалась. Уже июль, конец месяца, и дома разразилась очередная битва: мать выставила вперед щит, Мариано вытащил острый меч, они стоят посреди гостиной и готовы бросить друг другу вызов.

– Мои одноклассники поедут на поезде, – объясняет брат.

– Никуда ты не поедешь, тебе всего семнадцать, – отвечает мать; близнецы сидят на полу и соревнуются, кто соберет больше пыли.

– Нет, поеду, этот митинг – событие мирового масштаба, говорю же, утром от Термини идет поезд...

– В последний раз повторяю, ни на каком поезде ты не поедешь.

– Тебя что, совсем не волнует, что с нами творит власть? Спонсируют фальшивые войны, думают только о деньгах, об инвестициях. Тебе пофиг на банки, на деньги, которые мы им должны? Вот именно ты сколько должна, у тебя и дома своего нет...

– Ты говоришь о том, чего не понимаешь, ты что вообще знаешь о войнах, о корпорациях, о домах? Твое дело – учиться, работать и не угодить за решетку.

– Ты не понимаешь.

– Нет, это ты не понимаешь... не понимаешь, что тебе семнадцать, что не поедешь ты ни в какую Геную, останешься там, где я скажу, чтобы тебя было видно и слышно.

– А не ты ли вечно хочешь всех спасти? Не ты рвешься на забастовки, кричишь, что нельзя прогибаться?

– Я старше, я больше повидала, я знаю, что делаю, а ты нет, ты еще ребенок.

– Один черт я поеду, ты меня не удержишь.

Отец пытается вставить свое слово:

– Антония, мы тоже собирались на митинги, выходили на улицы. Молодежи нужны стачки, им нужно идти в первых рядах.

– Да что ты, нужны? Слушай, у тебя нет ног, а я мою полы в чужих квартирах, а потом лижу задницы их хозяевам. Молодежи нужно учиться, больше ничего. Вашей политике конец.

– Это вашей политике конец, – вскидывается Мариано.

Я сижу с тем же выражением лица, с которым смотрю на проносящиеся мимо грузовые вагоны, я понятия не имею, в чем суть спора, мне хочется заткнуть уши и закричать, я против этой семьи, всех ее нужд и метаний.

Мариано говорит, что мать – неудачница, скандирует: «Не-у-дач-ни-ца!» – чтобы она точно поняла как надо. А несколько дней спустя он встает пораньше, соврав, что идет к другу, едет на электричке, затем на метро до вокзала Термини, где садится на поезд до Генуи.

У нас нет мобильных, телевизора, компьютера – нет технических средств, нет возможности оставаться на связи, мы заперты в прошлом, пока мир несется галопом, обгоняет нас, топчет своими твердыми копытами.

Мать звонит друзьям брата, звонит другим матерям, отцам, учительницам в отпуске, спрашивает, спрашивает всех подряд, кто дал Мариано деньги на билет, от кого он узнал номер пути, с кем поехал, где останется на ночь.

Антония включает новости по радио, слушает, сидя за обеденным столом, прижав приемник к уху, будто боится, что отберут, она похожа на девочку-призрака, девочку-тень, запертую в подвале, пока на ее дом сверху валятся бомбы.

– Да он завтра же вернется, Антония, вот увидишь, – говорит мой отец, грубиян, разгильдяй, нигилист.

– Заткнись! – возмущенно вскидывается она, и ее звонкий голос прошибает стены. – Это ты завел разговор о площадях, о борьбе, ты позволил ему уехать, это ты виноват.

Крики перекрывают друг друга, на их фоне раздается каркающий голос диктора, он говорит, что ситуация изменилась, процессия перестроилась, теперь повсюду неразбериха, хаос, страх, полиция начала задержания, голос рассказывает, кто-то упал, кто-то бежал, голос говорит – процессия в черном, «черный блок», семьи, общественные центры, голос путается в деталях и вдруг сообщает о гибели молодого человека, еще много раз повторяет – черный блок, черный блок, потом – огнетушители... Родители перекрикивают радио, заходятся, что это последний раз, что они разведутся, разъедутся, жизнь врозь, ты – здесь, я – там, тебе бы

к врачу сходить, тебе бы пора выписать антидепрессанты, ты несчастный калека, ты бешеная стерва.

На меня накатывает тревога, так происходит только здесь, в этих стенах, где множатся мои страхи, от Мариано нет вестей, и мне кажется, что он уже исчез, что его поглотило спиралевидное движение галактики.

Мать бросает вещи в рюкзак и громко заявляет, что едет за сыном, где бы его ни носило, и ни один полицейский, ни один заговор корпораций, ни одна армия ее не остановят.

– Мы уроды, – кричит она на отца и бросает в него стаканом с остатками вина.

Она хватается за локоть, которым он заслонила лицо, она вся превратилась в порыв, в разрушение, она и не думает останавливаться. Она не видит и не замечает широко распахнутых глаз близнецов, ей плевать, что я, замерев у выключенной батареи, наблюдаю за происходящим. Я вижу мать точно через прозрачные, как вода, стенки пузыря, ее образ преломляется, меняется.

Антония действительно едет в Геную, Антония действительно находит сына, Антония действительно привозит его обратно домой, тратит время, тратит силы, посещает неизвестные мне места, разговаривает с неведомыми мне людьми. Она не рассказывает, как ей это удалось, как прошли эти несколько дней.

Дома ее ждет разлом, трещина, пульсирующая от боли рана, лопнувший гнойник, скальпель, рассекающий края кожи.

Я ухаживала за отцом, за его рукой, а он в молчании смотрел на кафельную плитку над раковиной, я готовила котлеты, заправляла салат, укладывала близнецов, всю ночь напролет сидела на унитазе, потому что, когда я нервничаю, мне постоянно хочется в туалет, спала по два часа, положив голову на раковину. На следующий день я начинала все заново, через день – то же самое. Я отлично стреляю холостыми, ломаю ракетками коленные чашечки, но семья для меня как наркотик, я не могу ему противостоять.

Мариано возвращается с видом человека, повидавшего окопы и траншеи, мать приказывает ему собирать манатки, и побыстрее.

Она говорит:

– Я не намерена больше это терпеть, эти переживания, ты не заслуживаешь быть моим сыном, ты ничего не заслуживаешь.

Мы с отцом сомневаемся, что правильно поняли смысл происходящего, мы думали, что вихрь событий наконец улегся, думали, что пришло время накладывать на рану швы.

– Теперь проваливай из дома и поезжай к бабушке в Остию, я умываю руки, – продолжает мать, подгоняя его действиями и голосом, она достает из ящичков рубашки брата, его носки, шерстяные шапки, сигаретные фильтры, а за ней мертвыми глазами наблюдает мой огромный розовый медведь. Он наслаждается зрелищем, разрухой, и кажется даже, что улыбается и знает, чем кончится дело.

– Раз ты такой взрослый, такой самостоятельный, теперь давай сам.

Я знаю, что Мариано хотел бы броситься к ногам матери, умолять о прощении, знаю, потому что вижу, как глаза его наполняются горячими слезами отчаяния, как дрожит его взгляд, мы без матери – ничто, без нее нам никак, но Мариано ничего не делает, не стирает руки, не признает, что мать была права, не соглашается, что да, Генуя – это было слишком.

Отец покачивается на стуле, локоть у него перебинтован, лицо покрылось испариной, июльская жара как будто заставляет его плавиться, он все твердит:

– Антония, ну что за глупости.

Но Антония не слушает его, ясно давая понять, что здесь не парламент, где обе партии имеют равный вес, здесь все в ее власти.

Массимо смотрит, как Мариано берет собранные матерью вещи, как готов унести под мышкой свое будущее. Годы и годы мерзких оскорблений, косых взглядов, грубых слов, годы,

проведенные бок о бок с этим мальчишкой, который перенял все от тебя, гадким, назойливым ребенком, мелкой пакостью – теперь ему, кажется, стало жаль, что брат уходит со сцены.

– Мариано, ты не обязан слушаться, – говорит Массимо, и выражение его лица столь же неясно, как туманное утро.

Но Антония не обращает на него внимания и провожает брата до двери.

Мариано буквально на миг обращает взгляд к нам: ко мне, к отцу, к близнецам.

Отец в отчаянии вцепился в колеса кресла, осознавая, что не может встать и вмешаться, он беззащитно наблюдает за тем, как мать принимает решения.

Дверь закрывается со шелчком, брат уходит, и между нами опускается пелена будущей расплаты и отчуждения.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.